

МИХАИЛ  
ПРИШВИН

Проза  
Русского  
Севера



Осударева дорога

Проза Русского Севера

Михаил Пришвин

**Осударева дорога (сборник)**

«ВЕЧЕ»

1954

## **Пришвин М. М.**

Осударева дорога (сборник) / М. М. Пришвин — «ВЕЧЕ»,  
1954 — (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-7993-9

Еще при Петре Великом был задуман водный путь, соединяющий два моря – Белое и Балтийское. Среди дремучих лесов Карелии царь приказал прорубить просеку и протащить волоком посуху суда. В народе так и осталось с тех пор название – Осударева дорога. Михаил Пришвин видел ее незарастающий след и слышал это название во время своего путешествия по Северу. Но вот наступило новое время. Пришли новые люди и стали рыть по старому следу великий водный путь... В книгу также включено одно из самых поэтичных произведений Михаила Пришвина, его «лебединая песня» – повесть-сказка «Корабельная чаща». По словам К.А. Федина, «Корабельная чаща» вобрала в себя все качества, какими обладал Пришвин издавна, все искусство, которое выработал, приобрел он на своем пути, и повесть стала в своем роде кристаллизованной пришевинской прозой еще небывалой насыщенности, объединенной сквозной для произведений Пришвина темой поисков «правды истинной» как о природе, так и о человеке.

ISBN 978-5-4484-7993-9

© Пришвин М. М., 1954

© ВЕЧЕ, 1954

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Осударева дорога                  | 6  |
| Часть I. Лес                      | 6  |
| I. Мирская няня                   | 6  |
| II. Сказанье о венике             | 8  |
| III. Финский кофей                | 11 |
| IV. Табашники                     | 15 |
| V. Марья Моревна                  | 17 |
| VI. Государственное дело          | 19 |
| VII. Крест и проволока            | 23 |
| VIII. Царица Савская              | 25 |
| IX. Приказ с Медвежьей горы       | 28 |
| X. Падун                          | 33 |
| XI. Имеющий власть                | 37 |
| XII. Рабочий день                 | 38 |
| XIII. Завал                       | 40 |
| XIV. Утри нос!                    | 44 |
| XV. Сказка о вечном рубле         | 46 |
| Часть II. Скалы                   | 54 |
| XVI. Божья колея                  | 54 |
| XVII. Красная черта               | 54 |
| XVIII. Все на скалу!              | 57 |
| XIX. Война                        | 58 |
| XX. Конюшня                       | 59 |
| XXI. Это не важно                 | 61 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 65 |

# **Михаил Михайлович Пришвин**

## **Осударева дорога**

© Пришвин М.М., наследники, 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

## Осударева дорога

*Аще сниду во ад – и Ты тамо еси.*

*Пс. 138*

### Часть I. Лес

#### I. Мирская няня

Холодный родничок возле нашего костра бежит в ту сторону гор, где вишни цветут, и соловьи поют в яблонях, и, может быть, люди, если верить песням и сказкам, где-нибудь там нежно любят друг друга. Мы тут ночевали, и родничок нам журчал о благодатной южной стране. Утром мы затоптали костер, прошли немного, и вот он опять такой же, родничок, бежит, только не в ту сторону, южную, а в нашу, беломорскую, где, пусть бывает, у людей еще нежнее любовь, но где только песни поют о благоухающих садах, и никто никогда не видал цветущей вишни и не слышал соловья, и жизнь проходила у всех нас с малолетства в суровой борьбе с суровой природой.

Шли мы долго этим ручьем, и все он усиливался и громче лепетал на камнях. Вдруг лес расступился, и показался незарастающий след далекого от нас военного похода.

– Осударева дорога, – сказал отец.

Остановились. Отец шапку снимает.

Это была незарастающая дорога со времен царя Петра. Этим путем царь народом, собранным с трех губерний, волоком тащил корабли с севера на шведа.

– Что тут народа легло! – говорит отец.

А шапку как снял, так и не надевает.

На кладбищах, на священных местах наши отцы всегда шапки снимали: осударева дорога для них была местом священного народного труда, где нам, маленьким, нужно было чего-то бояться, пристойно вести себя и слушаться старших.

Мы спускались ручьем все ниже и ниже, пока он не стал речкой в спокойной долине. Тут мы сели в карбас, и вода нас понесла. Отец правил и подгробал. Я с ружьем наготове сидел на носу. Вижу, из заводи выплыла впереди нас пара лебедей.

– Не стреляй!

Я поглядел на отца.

– Потому, – говорит он, – что они от нас не летят, а почему не летят, сынок мой, сам догадайся.

Не успел это он выговорить, как из травки выплыли лебедята.

Речка была неширокая, лебеди не смели нас пропустить, не могли нам и довериться, и тоже не могли бросить детей и улететь. Им оставалось только плыть поскорее вперед. И маленькие так спешили, что лапки назад их, вытянутые виднелись, и вода между ними шумела. А большие лебеди и хотели бы, и могли бы много скорее плыть, но оглядывались на малышек и поджидали.

Что тут делать? Птицы стесняли ход нашей лодки, мы же птиц стесняли. Так всё и плыли медленно из-за птиц до самого Выгозера. Тут мы поставили парус, и хорошая поветерь взяла нас на Карельский остров, а лебеди по этой речке, Телекинке, поплыли обратно одной тесной кучкой со своими лебедятами.

На Карельском острове в то время на берегу было столько бань, сколько во всем селе домов. У каждого хозяина на берегу была своя банька, тут каждый рыбак у себя и парился, весь красный, прямо из-под веника, выходил на порог и бросался в холодную воду.

Возле каждой баньки, так тесно, что вода была серая, плавали дикие утки: староверы их не трогали, принимая в пищу только горную дичь. Мне казалось тогда – это был остров непуганых птиц. Тут были утки разных пород и с ними гагары, чайки, зуйки. Отступая от бань, повыше стояло село с узкими улицами. Перед иными домами были тогда восьмиконечные деревянные кресты, такие большие, что на них можно было бы и теперь распять человека.

Особенно большой и крепкий крест стоял перед двухэтажным домом бабушки нашей Марьи Мироновны, где мы с отцом останавливались и ночевали. Только не так-то просто было войти в ее дом. Отец издали начинал шаркать ногами о траву; к бабушке нельзя было прямо ввалиться рабочему человеку, как это сплошь да рядом бывает в крестьянских домах: с улицы – прямо в избу в рабочей одежде.

Прежде чем ступить на чистый половичок и подняться наверх по лестнице, надо было хорошо ноги почистить, надо было обмыть лицо и руки в уголку, поливая воду из глиняного умывальника-чайника, подвешенного на веревочке: носик в одну сторону и носик в другую.

Поднявшись наверх, мы долго крестились по-староверски двумя перстами на старинные иконы с неугасимыми лампадами. Марья Мироновна не сразу к нам выходила. Был такой слух, и мы этого ужасно боялись, будто бабушка Мироновна спит всегда в гробу, ждет светопреставления, и что гроб ее сделан из карбаса, покрашен в черный цвет с белыми костями накрест на одном борту и с белым черепом на другом.

Мироновна на Выгозере была мирской няней. Когда заболевает у кого-нибудь дитя и слух об этом добежит до Мироновны, она садится в свой черный карбас и уплывает с Карельского острова. На пороге того дома, где заболело дитя, вскоре появляется высокая властная старуха и спрашивает голосом, вместе строгим и ласковым:

– Не улетела еще ангельская душка?

Тогда, если душка не улетела, все идут из дома спокойно на работу в поля или рыбу ловить, а Мироновна делается хозяйкой, и ее слушаются все в доме и боятся, и всем она распоряжается, как только ей вздумается, пока не отходит дитя.

Вот то и было всем на Выгозере дивно и непонятно, как это она ждет светопреставления, проповедует конец света, а только где заболеет ребенок – вся убьется, вся изведется, пока не отходит дитя. С одной стороны – свет кончается: лежит в гробу в ожидании конца, с другой стороны – тому же самому человеку так делается, будто свет только что начинается: сидит у постели ребенка.

Выходила к нам Марья Мироновна, высокая, прямая, с лестовкой в руке. Мы ей чинно кланялись, спрашивали, не нужно ли для нее поработать. И работали, бывало, и не один день. Сигов ей наловим, накопим, насолим, шук распластаем, навялим впрок на солнце желтое щучье прочное мясо. Ей, постнице, этого хватит надолго. И мы не одни ей помогали. Этим мирская няня кормилась и больше ничего за свой труд нигде никогда не брала.

Кто много пожил, тот не удивится, как могла уцелеть до нашего времени Марья Мироновна. Так похоже, будто мысли и помыслы наши не исчезают сразу, а остаются долго вертеться, как маховики на холостом ходу. Мало ли чего такого не бывает! Поют же до сих пор на Севере былины о Владимире Красном Солнышке, о древних русских богатырях, и о соловьях на вишнях, и о яблоньках, каких у нас не бывает, виденных нашими предками еще в Киевском царстве.

## II. Сказанье о венике

Многие из нас, ребят, конечно, в детстве болели, и у всех у нас таких побывала Мироновна. У кого она была и кому о чем-нибудь рассказывала, так тому на всю жизнь ее слова и оставались в поучение. Зимой в долгие вечера мы, ребята, слышали от мирской няни, как в старинное время здешние люди боролись за старую веру. Страшно было слушать эти правдивые рассказы о том, как люди собирались в деревянные срубы и, когда царские солдаты подходили, поджигали смолье.

Так распалит, бывало, Марья Мироновна, так настроит наше детское доверие, что вот взял бы сейчас и сгорел бы за старую веру. И так робко спросишь, бывало:

– А нельзя ли нам, бабушка, взять и сейчас вместе с тобой сгореть за старую веру?

– Не спешите гореть, – отвечает она, – успеете. Придет время, все вместе сгорим. Весь свет будет гореть: кто за старую веру, кто – за новую.

Мы только одно знали про старую веру, что у нас в старой вере крестятся двумя пальцами, а не тремя, что у нас в старой вере люди живут строго, а в новой – легко. В старой вере живут как надо всем, а в новой – как кому только самому захочется.

– Так слабость родилась в людях, – поясняла нам няня.

И всегда рассказывала нам одну и ту же свою сказку-быль о заколдованном венике, соблазнившем пустынников-староверов на легкую жизнь.

Было это еще в те времена, когда в гонениях за веру сильные люди разбежались по лесам на берегах реки Выга и в ожидании неминуемого светопрествления лежали в гробах. Так, был один такой пустынный отец Корнилий. Лежал он в своей маленькой келье в гробу, молился. Конечно, время от времени он вставал поглядеть, не показывается ли чего-нибудь на небе, нет ли признаков конца земных мук.

И так было раз, встав из гроба, отец Корнилий выглянул на свет в свое маленькое окошечко. Увидав, что комары столбами стоят над рекой, Корнилий живо скинул рубашку, вышел из кельи и сел, голый, на камень у самого берега.

Сколько времени так мучил себя пустынный – неизвестно. Скорее всего мученье это он не сам себе выдумал, а взял в пример из древних книг. Сам по себе Корнилий был живой человек, из крестьян. Искусанному комарами, и злой таежной мошкой, и слепнями сладко вспомнилось прежнее крестьянское житье, когда, бывало, каждую субботу добрый крестьянин парился в бане и стегал себя до беспамятства березовым веником.

– Вот бы попариться! – прошептал он.

И только-только он это прошептал, вдруг видит, будто что-то мелькнуло в белой пене порога, покружилось на плесе, и по заводи медленно к ногам пустытника подплыл обыкновенный банный веник. После говорили об этом, что не царствами, не дворцами, не золотом, не серебром ухитрился прельстить нечистый старого крестьянина, а этим самым обыкновенным березовым веником.

Подивился добрый крестьянин венику, подержал в руках. Никто в пустыне, кроме птиц и зверушек, не мог видеть, как пустынный хлестнул себя голого мокрым веником по искусанной спине.

– Грех какой! – перекрестился он и бросил его обратно в реку.

Провожая глазами уплывающий веник, Корнилий подумал и сказал:

– Значит, повыше еще житель есть.

И захотелось ему, вот как захотелось, как в старину, просто попариться в бане. А еще больше захотелось повидать, побеседовать по душе с тем простым человеком, там повыше на Выгу, кто не думал о близком светопрествлении и во все свое удовольствие мог париться в бане.

– Прости, Боже! – сказал Корнилий.

И, прибрав немного у себя в избушке, отправился к верхнему жителю в гости.

А пониже отца Корнилия на Выгу спасался поморец Лука. Веник, брошенный отцом Корнилием, скоро приплыл к нему и тоже обрадовал его. И тоже стало ему на душе полегче. И представилось, будто там, наверху, есть жизнь невинная, простая и прекрасная. Попросту говоря, старику, измученному комарами, захотелось попариться. И тоже он, как и отец Корнилий, не задумался об искушении.

– Прости, Боже! – сказал Лука.

И отправился к верхнему жителю в гости.

Тоже и пониже Луки, спасаясь от новолюбцев, проживал добрый инок Серапион с матерью своей старицей Нимфодорой. Серапион, увидев плывущий веник, сказал своей матери:

– Матушка, видно, там, повыше, тоже есть житель.

Нимфодора поглядела на веник, пожевала губами, и старухе тоже очень захотелось попариться.

– А ничего это, матушка? – спросил Серапион.

– Бог простит! – ответила Нимфодора.

И, убрав все в своей келье, наготовив лучинок, труту, дровец, на случай, кто заблудится, они оставили на двери знаки, что ушли к верхнему жителю.

Да недалеко по Выгу от впадения речки Ковжи жил Архип Авраамов, да пониже того на два перехода, да за большими порогами, да у Березовой заводи, да у Лисьей норы. Так от низу и до верху, от избушки к избушке, понимая условные знаки, – что хозяин келейки отправился к верхнему жителю, – собрались все пустынные у отца Даниила, в сердечной простоте пустившего вниз по реке банный веник.

– У тебя, отче, – сказали ему, – все есть. И банька, и рыболовные сети. Видно, ты живешь по желанию и мало думаешь о близком конце.

– Милые мои друзья, – ответил отец Даниил, – о конце своем помышляю неустанно, но помышляю тоже угодить Господу и телесной своей чистотой. Вода-матушка, она ведь чистая бежит. Ни в ней мышки, ни таракашки.

– Да что есть вода? – спросил отец Ферапонт.

– Вода-матушка, – отвечал инок Серапион, – есть, как и мы, тоже грешница. В чем-то она согрешила там, на небе. И падает к нам вниз на землю на доброе дело, на работу для нас всех. Смотрите, вон как она бьется, размывает скалистый берег, а вот там намывает, и где намывает, поднимается всякое растение на плодородной земле. Кончит работу вода, сделает свое полезное дело – и получает прощение, подымается вверх облачками-тучками, ходит по ветру. Так и мы, грешные люди, и падаем, и работаем, и подымаемся.

– Вот это правильно, – сказал Ферапонт. – Вода нам, грешникам, первый пример: капелька с капелькой соединяются на общую работу. Так и мы, человек с человеком, должны сходиться на труд. Я так понимаю, отец Даниил?

– Не надо бояться людей, если сходиться на доброе дело, – кратко ответил отец Даниил.

И с этим все согласились, что пустынным париться можно, и с тем тоже согласились, что рыбу тоже ловили и святые апостолы. Значит, если и теперь вместе сойдутся, – в этом нету никакого греха.

Греха-то, конечно, и не было, только одно упустили добрые пустынные: забыли они о близком конце, о том, что все пророчества сходились на близости дня светопреставления, что все мученики, сгоревшие в срубах, с этой верой поджигали смолье: не себя это они сами кончают, а Господь их рукой весь мир поджигает.

А нынешние пустынные, забыв это, согласились на легкую жизнь, в том, что вместе им жить будет лучше.

И хорошо бы, и все бы на пользу, только уж что-нибудь бы одно: или конец, или начало жизни. А пустыnnики с тех пор стали хромать на оба колена: и жить-то хочется, и гореть надо. Вот отчего и началась слабость.

Перед тем собирались вместе, чтобы умирать, а теперь собрались, чтобы жить, и тут же принялись искать удобное для хлебопашества место. После долгих поисков по реке Выгу и по его притокам вернулись к старому месту, где жил отец Даниил.

– Нет лучше этого места, – сказали искатели.

Добрый старец Корнилий, первый пустынножитель, увидевший веник, на эти слова ответил:

– Место, может быть, есть и лучше нашего, да что в том хорошего, когда много ищешь да разного хочешь. Есть места много лучше нашего, да тут сорока кашу варила.

После этих слов отец Даниил благословил начать здесь общежитие, и прозорливец Корнилий сказал напослед:

– Тут сорока кашу варила: мы поселимся здесь, а возле нас со временем соберутся хорошие люди с люлечками и с мамушками.

Слова прозорливого старца сбылись очень скоро: со всех сторон стали стекаться измученные гонением люди на то место, где вначале жил один только отец Даниил. От соединенных усилий из-под рук человека скоро вышла из дикого леса, из-под камней плодородная земля. Народились большие стада. Явились корабли для торговых поездок в Норвегию и на юг. В женском общежитии на реке Лексе стали процветать выгорецкие тонкие рукоделия – северное искусство. В мужском, на Выгу, братья Денисовы сочиняли свои знаменитые «Поморские ответы», ходившие в списках по рукам и на севере, и на юге вплоть до Киева. Свой историк Иван Филиппов писал «золотой тростью» свою известную историю Выгореции. В то же время невозможно стало при множестве людей следить за строгостью нравов, беречь «сено от огня»: общение мужского пола и женского. И вокруг монастыря, как предсказал прозорливец Корнилий, стали жить не подвижники, а самые обыкновенные люди с мамушками и с люлечками.

Так мало-помалу на Севере внутри великого государства Петра стало расти другое не совсем дружественное ему государство Выгореция.

Можно понять Марью Мироновну, что скорее всего она к тому, наверное, всегда и вела свою сказку о венике, что пустыnnики, соединившись вместе, слишком уж направили свое внимание к устройству жизни земной и тем возбудили внимание и зависть людей, не имеющих никаких стремлений к жизни небесной. Вот это пристрастие к жизни земной, наверно, она и называла *слабостью*.

Осударева дорога проходила очень недалеко от того места, где жили выгорецкие пустыnnики в двух своих монастырях: в мужском на Выгу и в женском на Лексе. Великий ужас напал на староверов, когда прошел слух, что сам царь-Антихрист с сыном Алексеем, с большим народом, с кораблями приближается к ним. Многие бросились к прежним приемам борьбы: натащили из лесу смолье, заложили его в деревянные строения, чтобы не сдаваться живыми, – сгореть вместе со своим нажитым добром. Одни хотели гореть, другие бежать, как прежде, и расселяться поодиночке в глухих местах.

Время жизни нашей летит быстро, но если пристально смотреть на часы, так оно, кажется, не идет даже, а стоит. Так точно и в прошлом, если считать время годами, далеко кажется от нас то время, когда Петр со своим сыном Алексеем во главе свиты своей и народа, собранного с трех губерний, подходил к Даниловскому общежитию на Выгу. Но если время не годами считать, а по человеческой жизни, то оно окажется совсем недалеким от нас. Восемьдесят лет тому назад родилась в Надвоицах наша Марья Мироновна, а еще за восемьдесят лет от нее был жив последний большак Выгореции, а еще за восемьдесят лет от него и проходил Петр со своими кораблями по Выгореции.

Марья Мироновна об этом ужасе раскольников перед встречей с царем-Антихристом рассказывала так живо, будто она сама царя в лицо видала, сама же будто и закладывала в деревянные стены смолье.

– Не от самого царя вред был, – говорила она, – а больше от клеветников и завистников, окружавших царя.

И, конечно, они при первом случае доложили царю, что совсем недалеко, здесь на Выгу, живут пустынники своим собственным маленьким государством, богатеют, торгуют, пишут книги, проповедуют старую веру, а за царя Богу не молятся.

Расспросив подробно об устройстве замечательной общины, Петр так обрадовался встрече с такими дельными людьми, что пропустил, наверно, мимо ушей или просто не придал значения тому, что они за царя Богу не молятся.

На этом месте рассказа всегда, бывало, дрогнет какая-то струнка в лице Марьи Мироновны, для нас, ребяташек, очень приятная. Казалось, будто бабушка наша очнулась от своей постоянной ужасной мысли о скором конце света, любовно-лукаво примиряясь с землей.

И непримиримая наша обличительница новой веры начинала горячо восхвалять царя.

– Как же так, – спрашивали мы Марью Мироновну, – то называла царя Антихристом, а то вот теперь восхваляешь?

Тогда с не сходящей с лица лукавой улыбочкой добрая и совсем другая Марья Мироновна, не обличительница, а мирская няня, говорила нам:

– Это, деточки, по вере мы считали царя за Антихриста, а по делам своим он прошел как отец отечества благоутробнейший, оставляя сердце свое в руках всемилостивого небесного Отца, человеколюбиво милующего пустыню сию.

И спокойно рассказывала дальше, как царь потом вспомнил о пустынниках и, вместо того чтобы наказывать их, – что Богу за него не молятся, – заставил их отливать пушки на пользу всего государства Российского. И когда пустынники, желая сохранить в целостности свое общежитие, уступили царю, то эта слабость привела к другой слабости, и вся жизнь монастыря начала падать и разлагаться.

При царе Александре Третьем приехал чиновник, все описал, все опечатал, и с тех пор Выгореция кончилась.

– А как же быть, – говорила Мироновна, – как же быть тоже и царям? Он же государь, у него на руках большое дело, не он виноват, а каждый из нас виноват в своей слабости.

И, вспоминая веник, еще говорила:

– Сидели бы отцы на местах, ждали бы терпеливо в гробах своих конца света, а то нет! увидали веник, и захотелось попариться. Мало ли что самому-то захочется! Деточки, не по желанию живите, не как самому хочется, а как надо всем нам жить.

### III. Финский кофе

Там, где весь наш коренастый могучий Выг тремя падыми валится вниз в озеро Воицкое, в селе Надвоицы, в своем хорошем доме живет родной брат Марьи Мироновны, богатый и могутный рыбак Сергей Мироныч.

Случилось, около праздника Николы Вешнего заболел у этого дедушки Мироныча семнадцатый внук, и Марья Мироновна, мирская няня, на своем черном карбасе приплыла к брату в дом и стала ходить за мальчиком. Вскоре тут подошел и самый праздник Николы, любимый на Выгозере. В Надвоицах и на всем Выгозере, на островах, и на суземе, и на Сегозере, и даже в большой глуши на Хижозере давным-давно от финских карелов ловцы и полесники переняли привычку в праздники по случаю удачного лова и охоты угощаться кофеем. Как это случилось, что старообрядцы пользовались такой «слабостью», скорее всего вышло только от того, что кофеи пили тут исстари, может быть, и до Никона. В ту весну, когда в Выгореции начали стро-

ить Беломорско-Балтийский путь, в доме Мироныча был счастливый лов и охота: довольно наловили семги, скачущей с камня на камень вверх через водопад, напоездовали сигов, наловили сетями и накололи острогами щук. Не грех было в праздник Николы Вешнего собрать всю семью и всем вместе напиться кофею.

Приехал с Коросозера старший сын Мироныча Осип, всегда молчаливый при батюшке полесник. Он привез с собой много дичи, мяса звериного, соленого, и свежих, только что убитых на токах мошников. Младший сын, молодой саблеватый парень Ванюшка, работающий на сплаве лесов, прибыл из Сороки погулять на праздник. Оба зятя приплыли из Габсельги и Койкинского погоста со своими бабами. И здешние сыновья Мироныча, все пятеро, собрались с женами и малыми детьми.

В ожидании приезда из Поморья почетного гостя, промышлявшего морских зверей, убрали стол. Принесли огромные рыбники, с запеченными в тесте цельными сигами, и тоже семужные были рыбники с нежно-розовым мясом, и щучьи пироги на любителя щук. И мошники цельные большие, и высокие стопы калишек с творогом.

Возле полураскрытой занавески у образов с лестовкой в руке вся в черном сидела Марья Мироновна. Она не к празднику, не за кофеем прибыла сюда с Карельского острова, а только чтобы спасти от смерти больного мальчика, сына Осипа Сергеевича, семнадцатого внука Сергея Мироныча. Дни и ночи сидела мирская няня возле больного, что-то шептала, перебирая пальцами узелки своей староверской лестовки, понимая так, что удерживает душу больного на какой-то высоте между землею и небом.

«Не упустить бы ангельскую душку», – думала мирская няня.

А душка мальчика в этот день как раз только и начала оживать пролежавшее неподвижно столько дней тело. Где-то в своем поднебесье Зук услышал знакомые прекрасные клики пролетающих лебедей, и это решило все: он начал спускаться на эти звуки родной земли.

Выставляли в избе зимнюю раму, и вместе с шумом Надвоицкого падуна всем послышались гармонические звуки лебедей, перелетающих по светлым ламбинам<sup>1</sup> на места своих гнездований.

– Лебеди, лебеди! – закричали дети.

– Как славно играют! – отозвался отдыхающий на полатях Сергей Мироныч.

А Марья Мироновна, измученная бессонной ночью, услышала в довольстве сказанные слова брата об игре лебедей и ответила ему с явной досадой:

– Играют лебеди, им бы только играть, а нам бы с тобой лежать на полатях да слушать.

– Не все игра у них, – усмехнулся Мироныч, – поиграют птицы самую малость, а там надо яички класть, надо на яичках сидеть, не есть, не пить, не спать, а там вывелись птенцы – надо кормить, это нелегкое дело: каждому птенцу нужна рыбка, а там надо выходить, надо уберечь от ястреба и от зимней стужи нашей, увести в теплые края. Нелегко и лететь туда, – на лебедях летят в теплые края вошки, букашки в великом множестве, все кусаются, все есть хотят, кровь лебединая исходит на всякую дрянь. А крылами все надо махать и махать. У каждой птицы под крылом мозоль нарастает в кулак, и каждая птица должна про себя понимать: долечу ли я или упаду. И нет у птиц докторов, как у нас. Упадешь – товарищи спустятся и заклюют, чтобы не мучился и другим не мешал дальше лететь. А ты, сестра, говоришь – у них только игра!

– Конечно, – ответила Мироновна, – дело нелегкое... А все-таки – по желанию! Свои деточки у лебеда – свои желания: вот и легко.

– А можно ли что-нибудь сделать на свете без своего желания, Марьюшка?

– Можно, Мироныч!

– Ну как же так, не пойму. Ты вот, мирская няня, ходишь за чужими детьми. Разве что вот это...

---

<sup>1</sup> Светлая ламбина – озеро со светлой водой, темная – с темной. (Здесь и далее все примечания М. М. Пришвина.)

– И тоже хожу за ними по желанию, и борюсь с этим, и все не могу до конца победить этой слабости: я им делаюсь все равно как родная мать.

– За своими – по желанию, за чужими – по желанию... Да можно ли, сестра, на свете хоть что-нибудь сделать без своего желания?

– Отчего же нельзя? Наши отцы не по желанию жили.

– А как же?

– Как надо.

– А как, по-твоему, надо?

– Не по-моему, брат, а как написано было в наших старых книгах до нечестивого Никона. Ты это знать должен.

Мируныч, старый человек, прочел за жизнь не один десяток тяжелых староверских книг и уж хорошо знал о наступающей слабости и о том, как надо жить по учению отцов. Но на него в спорах с сестрой что-то находило, какое-то упрямство, и до того, что он начинал по временам заступаться даже за «слабость».

– Лежать в гробу, – сказал он, – учили наши отцы и лежа дожидаться светопреставления. Ждали-ждали и не дождались. Верно ли это, что мы в гробах должны ждать конца? Верно ли, что сразу все должно кончиться, а не каждый человек отдельно кончается в своем труде, сам того не зная, на пользу других. Сестра, не гордость ли это наша староверская, чтобы всем сразу кончиться, а самому бы лежать и дожидаться, когда придет наконец час для всех!

Тогда, как будто в подтверждение слов Мируныча против стремления живого человека к своему смертному часу, да еще с угрозой этим часом для всех, на белой подушке явились два чудесных голубых цветка. Так удивляемся мы цветам, когда, отвечая красоте солнца золотого и неба голубого, они образуют свои венчики. Но что удивительнее прекрасного детского глаза, отвечающего и всей красоте природы, и чему-то еще более нам дорогому, нашей какой-то смутной надежде на будущее счастье всего соединенного в добре человека.

Так, выздоравливая, Зук открыл свои голубые глаза с золотой искоркой. Но Мируновна этих глаз не видала. Зеркало души ее было взволновано. Слова брата налетели на него, как ветер налетает на спокойное лоно воды и смешивает все чудесные отражения действительно прекрасной жизни. Как будто тень замученного фанатика Аввакума вошла в нее, и, такая добрая, бабушка, протянув вперед руку с двуперстием, зашептала старыми, заостренными словами:

– Мертвые встанут! Что, вы признаков не видите? Леса, воды, все измерено. Цепь Антихриста пролегла по всем просекам, диких зверей стали считать, на товарах всюду печати, сатанинской проволокой, как паутиной, опутан весь мир...

А Мируныч, не слушая знакомые и давно прожитые слова своей сестры, радостно глядел на голубые цветы своего любимого внука.

– Брось, сестра, – сказал он, – ты погляди-ка лучше на внука!

Оглянулась Марья Мируновна – Зук встретил ее с улыбкой на щеках, начинающих румяниться.

– Бабушка, – сказал он, – а что, лебеди не считаны?

– Нет, сыночка, – ответила бабушка совсем другим голосом, – лебеди не считаны: кто может их сосчитать? Лебеди – птица вольная.

– А весенние ручейки в наших лесах?

– Ручейки, сыночка, неровно бывают: один год меньше, другой больше. Как это можно ручейки сосчитать, глупый?

– И что это, ручейки, это наши желания?

Мируновна вздохнула:

– Желания, миленький: бегут, бормочут, шепчутся, травки-листки качают, камушки лижут, пошевеливают, все, все это, как наши желания...

– И лебеди?

– Весна ведет и всем дает желания.

– И несчетные?

– Кто может сосчитать это: все жить хотят.

– А как же ты сейчас с дедушкой спорила и говорила: все звери в лесу сосчитаны, и деревья, и все на свете измерено и опутано проволокой, как паутиной.

– Ну и молодец, – отозвался с полатей Сергей Мироныч.

Старик приподнялся, ноги с полатей спустил, приготавливаясь к новой борьбе со старухой за жизнь на земле в бесконечном ее несчитанном разнообразии.

Но Зук, еще слабый, закрыл глаза, и румянец слетел с бледных щек. И та же самая рука, только что грозившая своим страшным заклинающим двуперстием, теперь обратилась доброй ладонью с разжатыми пальцами и, часто покачиваясь, умоляла всех в доме о тишине:

– Тише, тише! – шептала Мироновна.

И полуоткрытый рот, и материнская улыбка пробудили на старом лице следы былой великой красоты человека.

– Уснул, уснул, – шепнула она, – это к здоровью!

И осторожно, бесшумно задернула полог.

Но Зук не спал. Его душа теперь была, как это часто бывает у тех, к кому возвращается жизнь: душа его была как вся земля, как вся природа, и он в ней, как свой, и все тут свое, близкое, знакомое, прекрасное и понятное.

Вот оно тут лежит, все Выгозеро со всеми своими островами: сколько дней в году, столько островов на Выгозере. И со всех сторон в озеро бегут речки из лесов и несчитанные ручьи, все шевелят травками и, ударяясь о камушки, шепчут и бормочут по-разному и неровно: то погромче, то потише. Когда потише – рождаются травки, когда погромче – то рождаются камешки, и у всех выходит одно:

– На ро-ди-ну!..

А падун, этот великан трехголовый, высунул плечи черные из-под воды и там под водою руками своими огромными над чем-то трудится, работает, крутит воду, бросает, наказывает, сердится, гонит, рычит:

– На ро-ди-ну!

Поднялась даже на зов из моря холодная рыба и снизу пошла вверх на падун. Серебряной семге тоже надо перебраться через падун вверх на родину. Зук теперь видит себя не на постели, вся душа его стала теперь – вся родная земля. Он теперь сидит с деревянным молотком-кротилкой у одной каменной чаши возле падуна: сам в печурке, кротилка наружу.

Семга, бросаясь вверх с камня на камень, должна попасть в эту каменную ямку. Вон там внизу, где разбивается столб падающей воды, сверкнула вверх длинная искра: это она сделала свой первый скачок вверх с нижнего камня повыше, и вот с этого верхнего сейчас скачет еще выше, еще прыгнула, еще, и прямо к нему под молоток. А вон другая прыгнула и ошиблась: встречная струя сшибла ее, ударила о камень головой, огромная рыба упала в бучило и там завертелась, бессильная, по воле воды, с перевернутым брюхом.

Рыбу крутит вода, воду крутит черный трехголовый великан. А кто над великаном стоит? Зачем ходит месяц по небу, зачем звезды, зачем солнце? Что это они – так по желанию ходят, как говорит дедушка, или их тоже крутит великан какой-нибудь? И им так надо ходить, как говорит бабушка?

А вон и новая семга сверкает внизу и прыгает вверх. Ей надо пробиться из моря, из Нижнего Выга через падун в Выгозеро, а из озера в Верхний Выг на родину, на места икромета.

Значит, она не боится погибнуть: ей так надо.

И ей так хочется.

Ей до смерти хочется, а выходит: так надо.

Семга сверкнула, как искра огня, и мысль сверкнула у мальчика:

«Почему же у семги так выходит, что если ей до смерти хочется, то это же ей так и надо? А если бабушке что-нибудь хочется, то это грех, а надо бывает у нее, когда самой вовсе не хочется».

#### IV. Табашники

Старый друг Мироныча Михайло Потапыч с приездом своим хорошо подгадал. Пироги на столе далеко не успели остыть, когда показался на озере его карбас с одним парусом на прямую поветерь. По северному обычаю жёнка его сидела на веслах, а он, бородатый, правил и помогал ей кормовым веслом. Ловко обойдя Еловый островок, разделяющий натрое падение Выга, карбас остановился против дома Мироныча с восьмиконечным крестом и с князьком на крыше, подобным голове оленя с ветвистыми рогами. Гостя дорогого Мироныч усадил возле себя и, не выдав его уже лет тридцать, стал рассказывать о себе и потчевать всем, что дает северному полеснику и ловцу богатая вода и таежный сузём.

– До веку мне остается немного, – говорил Мироныч, – не знаю, друг, доживу ли еще. Много ли тебе остается до веку, Михайло?

– Мне остается до веку, – ответил помор, – сколько у белого медведя зубов без одиннадцати.

– А сколько у медведя зубов? – спросил бойко Зук, раздвигая обеими руками занавеску широко в обе стороны.

– Больно ты боек, – засмеялся Мироныч. – Есть кто поматорей тебя за столом, и тоже не знает, сколько у медведя зубов, а не смеет спросить. Вот придет время, отдам тебя Потапычу на выучку, пойдешь с ним на зверя, убьешь, и сосчитаешь, и узнаешь, сколько у него зубов.

– А не уладишь убить, – засмеялся Потапыч, – он у тебя сосчитает.

– Ну вот, зачем так, – поправил друга Мироныч, – годика через два найдем мы тут неподалеку берлогу, поставим парня против чела, и я скажу: «Ну-ка, Зук, стар я становлюсь, память путается; скажи-ка мне, молодец, сколько у медведя зубов?»

Все засмеялись, все посмотрели на кудрявого мальчика с большими голубыми глазами. Осенью в заводях, когда небо чистое как будто немного мутнеет, прозрачная вода становится голубее неба и где-то в глубине сверкают золотые искорки солнца – такие были глаза у Зуйка.

Загляделся Мироныч в глаза любимого внука и, верно, в них себя самого увидал, когда он тоненьким ребятенком тоже такими глазами с острогой в руке выглядывал щук в синей заводи.

– Эх, Михайло, – сказал он раздумчиво, не спуская глаз со своего внука, – был и я тоже молод и несмышлен и тоже спрашивал: и сколько у медведя зубов, и звезд на небе, и что это солнце, и что это месяц, и какая это книга нам с неба упала, и что в ней написано. Смотрю вот сейчас на внука, радуюсь ему, а сам вроде как бы отхожу... Эх, был конь, да заезжен! Но ум, Михайло, все мой! Моего ума держимся мы в семье. Родитель мой батюшка богато жил на Хижозере. Так вот он сказывал, родитель-батюшка, будто на камне середь озера узрил он, как водяной выгозерский с водяным хижозерским в карты играли. На другой день после этого случая вода в Хижозере стала убывать, и через три дня от всего озера осталась только дырка в земле: и рыба и вода ушли от нас, а вода в Выгозере заметно поднялась. Так и подумали на карты, что хозяин хижозерский хозяину выгозерскому в карты проиграл и воду и рыбу. Поросло наше озеро ольхой и частым осинником, человеку пройти только с топором. Пробовали жечь лес, камни ворочали, сеяли нивы. Да что говорить: возле океана живем; подует морянка, да ясень на небе, да три звезды – все вымерзнет, весь труд тяжелый пропал. Тут родитель мой батюшка говорит:

«Ну, Сергей, видно, правда хижозерский хозяин рыбу свою проиграл выгозерскому, и не вернется она к нам оттуда. Собирайся в поход: идем на поклон выгозерскому хозяину».

Так вот перебрались, и родитель-батюшка под самый конец мне сказал:

«Ум, Сергей, не бочонок с водой, не переставишь, не перельешь в чужую голову. Пока я жив – бери с меня пример. Живи примером, а свой ум береги».

– Вот я, Потапыч, с каких времен помню и ум свой берегу: моего ума держимся.

– Что уж! – сказал на эти слова койкинский зять.

– Да уж! – отозвался зять с выгозерского погоста.

– Мироныч, Мироныч! – оборвала вдруг разливистую речь старика Марья Мироновна. – Погляди-ка, что там за дымок на озере, будто вода загорелась и какой-то невиданный карбас без весел летит по воде: нет и паруса, а сзади дымок.

Все поглядели в окно, лодка неслась по воде против ветра, как птица.

– Моторная лодка, – сказал Потапыч. – У нас в Поморье теперь это не диво. Только глядите, други, чуёт мое сердце, это неспроста, тут что-то есть.

– Это еще что! – отозвалась Марья Мироновна. – Вот поглядите, в Священном писании на летающего монаха указано, что в последние дни архиерей полетит на крылах.

Крупная моторная лодка между тем летела, росла, разрезая воду Выгозера расходящимся углом, подобным каравану гусей. Скоро она причалила к берегу как раз против дома Мироныча, из лодки на берег вышел высокий молодой человек такого вида, какими тогда выходили из народа начальники: бритый, выдающийся вперед подбородок как будто стремительно влек всего человека вперед, а во лбу и глазах какая-то другая сила осаживала движение, и оттого ноги ступали рассчитанно, руки в плечах двигались сдержанно. Это был явно начальник, и четверо других ребят, более молодых, держались совершенно свободно, как будто всю заботу о каком-то важном деле взял на себя их начальник. С ними была еще молодая женщина в военной одежде, с наганом, в зюйдвестке, кавалерийских штанах, почти от мужчин неотличимая.

Начальник, выйдя на берег, стал сейчас же крутить себе папироску, другие вынесли из лодки тяжелые котомки, один достал несколько пачек папирос, всех наделил, все закурили.

– Табашники! – сказала Марья Мироновна. – Только вышли на берег – и небо коптить!

– Да уж! – сказал один зять.

– Что уж! – ответил другой.

– А котомки, – молвил Мироныч, – видно, тяжелые: смотри, как засутулились: небольшие мешки, а тягость какая.

– Да, Мироныч, – молвил Потапыч, – я в Поморье на них насмотрелся. Чуёт сердце мое, это вам неспроста: пора кончать вам в своем соку вариться со своими сигами да с мошниками. Время везде переходит, вот и до вас дошло.

Вытащив лодку, табашники направились к лучшему дому в селе, к дому Мироныча с крепким крестом, высокой сосной и резным оленем на крыше.

Один из молодых табашников попробовал свою силу на нем, но большой восьмиконечный крест и не дрогнул.

– Крепко ставлено! – сказал этот табашник.

– На уж! – ответил, услышав эти слова, один зять.

Посмотрев на прекрасного оленя, поставленного вместо князька, – он был вырезан весь из цельного куска дерева, – приезжие подивились.

– Коньки ставят, – сказал один, – чтобы князь не прел: это просто, а для чего трудился человек рабочий на такого оленя?

– Красота, – ответил другой.

– Что уж! – сказал зять в окне. – Понимают тоже, что есть красота.

– Батюшки мои, – вдруг воскликнула, вся переменяясь в лице, Марья Мироновна. – Да они, кажется, к нам идут!

– Понравился олень, – спокойно сказал Сергей Мироныч.

– Семушка, – крикнула Марья Мироновна на детский стол одному из приезжих внуков. – Семушка, скорей беги, скажи, как сумеешь: никого дома нет.

– Гораздо уж ты строга, – остановил ее Мироныч. И махнул Семке рукой, чтоб сидел на месте и никуда не бежал.

– Табашники идут, слышишь ты, брат, табашники!

– Опять старая песня, – ответил Мироныч. – Теперь и хорошие-то люди курят табак, что с этим поделаешь! Не можем же мы всех заставить кровью своей кормить комаров, как делали наши отцы. И какая теперь людям от этого польза?

– Не польза, – ответила Марья Мироновна, – а пример. По хорошему примеру люди живут. Польза приходит сама собой. А если без примера будешь только за пользой гоняться – ничего не выйдет полезного. Сема, сейчас же беги!

В это время застучали ноги по лестнице, и твердый и сдержанный голос сказал:

– Разрешите войти, граждане!

## V. Марья Моревна

Бывает, и в маленьких странах время обходит и шадит иные уголки до тех пор, пока не явится желание сохранить хоть один такой уголок неприкосновенным. Так бывает и в маленьких странах, а у нас, если обернуться лицом в прошлое, можно такое найти на земле, что в других странах давно уже под землей.

Так обошла Гражданская война Надвоицы, и все сохранилось здесь в народе, как будто жили все в одном доме, все были свои. В забытом краю пели былины о Владимире Красном Солнышке, молились по не исправленным Никоном книгам, и конца света ждала не только одна Марья Мироновна на Карельском острове.

Но время вспомнило забытый край, и к своим людям постучался с виду чужой человек...

Чужой человек вошел, и свои люди за столом глядят на него, как стадо животных домашних глядит на зверя иной породы и следит внимательно за всеми его движениями, за выражением лица и фигуры.

– Хлеб да соль! – приветствовал чужой человек.

– Милости просим! – отвечали свои люди.

Вслед за начальником вошел тот военный в зюйдвестке с наганом, и когда он тоже сказал: «Хлеб да соль!» – то все сразу по голосу узнали в нем женщину.

– Там за дверью четверо моих ребят, – сказал начальник, – мы приехали сюда по большому государственному делу, нуждаемся ненадолго в квартире: очень скоро мы выстроим тут свой городок.

– Государственному делу, – отвечал Мироныч, – мы с охотой готовы служить и хорошим людям всегда рады. Зовите ребят ваших к нашему хлебу и соли.

– Табашники! – возмущенно прошептала Мироновна. Начальник это услышал.

– Вы, – сказал он спокойно, обращаясь прямо к Мироновне, – не беспокойтесь: курить и сами не будем в избе, и за ребят отвечаю: не дыхнет никто табаком.

– Эх, сестра, – покачал головой Мироныч, – слыхала же ты: люди по большому государственному делу приехали, а ты со своим табаком заладила на всякого, как сорока про Якова! Зовите товарищей, присаживайтесь к столу, гости дорогие.

– Позовите ребят, товарищ Уланова, – распорядился начальник.

– Слушаю, товарищ Сутулов, – ответила по-военному женщина.

И, обернувшись, открыла дверь.

– Маша, – остановил ее начальник, – ты ребятам нашим скажи насчет табаку, как сейчас говорили: чтоб и духу не было.

– Слушаю, товарищ Сутулов, – ответила Уланова.

И скоро привела сидевших в ожидании на лавочке возле дома молодых людей, немного оробевших под общим разглядыванием. Сутулов дельно высмотрел для них места за столом, усадил.

Уланова как будто сейчас только вдруг для всех открыла свои глаза, большие, карие и как бы одновременно печальные внутри себя и веселые к людям. У русских людей это бывает, и у самой Мироновны раньше в молодости были такие глаза: сразу и печальные к себе и веселые к людям. С доброй внимательной улыбкой приезжая женщина оглядела всех, в одно мгновение запомнила и унесла все с собой, как уносит с собой все ей нужное налетающая на берег морская волна.

И Зук с его удивленными большими глазами не остался незамеченным: волна, откатываясь, заметно на мгновение остановилась на нем и еще дольше остановилась на строгом красивом лице Марьи Мироновны. Отойдя в уголок, она там начала, стараясь быть незаметной, приводить себя в порядок и превращаться из морской волны и военного в женщину.

В крестьянских избах постоянно раздеваются и убираются на людях так, что все это видят и в то же время как будто и не замечают ничего, и Зук тоже, как все, не тарашил глаза в уголок, а все видел, все замечал про себя и что-то складывал у себя в голове.

Маша прежде всего сняла с себя загрязненную зюйдвестку, и каштановые волосы крупными золотистыми кольцами рассыпались вокруг лица и по плечам.

С того времени, как рассыпались волосы по плечам, Зук стал себе складывать из Марии Улановой свою сказочную красавицу Марью Моревну. Так многие дети делают, так просто складывается целый мир свой собственный у каждого из нас в детстве, из обыкновенных, но еще не виданных вещей.

Приезжая женщина сняла с плеч свою котомку, вынула из нее сумочку кожаную, открыла ее, достала маленькое круглое зеркальце, привесила его на стене, зацепив за гвоздик. Зук первый раз видел такое: это была хорошо ему знакомая Марья Моревна. Чудесным было только одно: как могла она из сказки выйти сюда.

Она достала бутылочку маленькую с пробкой стеклянной, обвязанной чем-то и затянутой ниточкой, чтобы не выскочила. Вынула чистый вчетверо сложенный белый платок с цветочками и частыми дырочками по краям и немного полила на него из бутылочки, и бутылочка сверкнула в солнечном луче, как алмазная, своею гранью, и только коснулась, только слегка провела Маша платком по лицу – вдруг оказалось, что в бутылочке была *живая вода*.

Лицо Марьи Моревны стало цветистым, и по всей избе повеяло ароматом, как будто летом открыли окно, когда всюду цветут луга. Марья Моревна вынула из кожаной сумочки какую-то блестящую коробочку круглую, сняла с нее крышку, ваткой взяла белый порошок, покрыла им цветущее свое лицо, и оно стало как небо в белых сквозных облаках на заре. Сложив обратно коробочку в кожаную сумку, она провела пальчиком по бровям, и они раскинулись, как крылья, когда птица спускается в воду. Потом она расстегнула военную куртку, и оттуда показалась кофточка, точно как бывает вечером на небе, розовая с голубым, и вся пашечками: одна к одной, розовая к голубой, голубая к синей и опять розовая. От шеи по этому вечернему небу спускается платочек с золотыми цветами. После этого красавица обернулась ко всем, села за стол, и сквозь улыбку глаза ее, и веселые, и печальные, и все понимающие, были как если бы на заре ко всему, что бывает прекрасного, еще вышли бы меж облак два человеческих глаза.

Так Зук, создавая свою Марью Моревну, вспомнил, как однажды, после охотничьего трудного перехода с отцом, наконец-то под вечер темный лес разноцветными своими окошечками открыл вид на зарю, и так было хорошо на опушке, что и усталый отец остановился и стал вслух читать свои «Живые помощи». Он же, мальчик, стоял на месте, глядел на зарю и все чего-то ждал и ждал. Теперь он понял, что ждал тогда вот эти глаза, что этих глаз человеческих тогда не хватало в природе.

Так Зук, поняв приезжую женщину как свою сказочную Марью Моревну, перевел глаза на Сутулова и стал вырезать по-своему из него своего Начальника. Он сразу же заметил, что бабушке Сутулов очень не нравится, и понял, что это у нее все за табак. А вот почему дедушке новый человек чем-то сразу понравился? И, раздумывая об этом, он стал понемногу выводить себе Начальника из дедушки, как вывел свою Марью Моревну из зари, облаков, леса и ароматного луга.

Он сразу заметил тоже, что Начальник держит и себя и ребят своих, как дедушка тоже всегда держит себя, и от этого все его слушаются. Дедушка как будто на чем-то стоит и что-то держит, и это нужно для всех: это для всех *надо*. Дедушка велит – и это надо, хотя самому-то, может быть, *хочется* и совсем другого. Вот и Начальник тоже, как дедушка, держит себя как большой, а ребята его и большие, а все равно, как у дедушки, маленькие: они слушаются, они держат себя и таят что-то свое, чего им так хочется. Да, им теперь, конечно, хочется покурить, а надо удерживаться даже дышать табаком. Но это Зук, конечно, по себе так догадывался о ребятах, они же все сидели, как связанные волей дедушки и Начальника, и виду никакого о своем желании покурить не подавали. Так из дедушки вырезал Зук своего Начальника и стал внимательно слушать беседу, и слова, чуждые и непонятные, вроде «государственного дела», переводить на свой детский язык. Так точно и умные зверушки внимательно смотрят на нас, и мы не всегда догадываемся, что по-своему они все понимают.

## VI. Государственное дело

Дав гостям хорошенько покушать, а самому за это время к ним приглядеться, Сергей Мироныч наконец решил спросить Сутулова:

– А по какому же делу вы приехали и для чего будете строить здесь городок?

– Приехали мы по государственному делу, – ответил Сутулов, – мы назначены прокладывать водный путь для больших морских кораблей, путь из Белого моря к Балтийскому. Надвоицы будут на этом водном пути одним из самых главных узлов.

– Ой ли! – воскликнул весело Мироныч. И обернулся к жене:

– Ну, княгинюшка Евстолия Васильевна, – потчевай дорогих гостей, как только можешь, – слышишь ли ты, по какому большому делу к нам люди приехали. – И, обращаясь к своему другу-помору, сказал: – Я жену свою, Михайло, в большие праздники постоянно княгиней зову.

Евстолия Васильевна при этих словах быстро, второпях стала что-то дожевывать, проглотив, встала, всем поклонилась и, несмотря на свой возраст, конфузливо покраснела. Княгиня была тоненькая, сухонькая, а глаза большие, горящие и для всех приветливо светились в том смысле, что если все обиды снять с людей, то будут все хороши, а праздник затем и праздник, чтобы люди обиды свои все дома оставили.

– Кушайте, дорогие гости, беседуйте! – кланялась хозяйка.

И все гости, слушая ласковые искренние слова, кушая, чувствовали, будто входят в большую семью и к ней как-то присоединяются.

Зук в это время не сводил глаз с Сутулова. Он очень хорошо понял по дедушке, что начальник о своем государственном деле сказал страшно большие слова и что дедушка сплутывал: услышав эти слова, чтобы получше их понять про себя, он завел речь про княгинюшку. Такое Зук все хорошо понимал: дедушка неспроста угощает гостей.

– Да, друг мой, – говорил опять Сергей Мироныч помору, – любя ли тебе княгиня моя? Ну, а мне в свое время гораздо она полюбилась. Да, Михайло, много, много мы с княгиней горя хлебнули, а жили советно и семь молодцов, как семь яблоков, вырастили. Советно жили, в наше время невестки, бывало, не скажут «хочу – не хочу», не как нынешняя молодежь: им слово, а они два.

– На уж! – сказал один зять.

– Что уж! – ответил другой.

– Какое время было, какими примерами жили! Старики-то наши тогда все о царствии небесном думали и плоть свою морили: бывало, слепням-комарам и всякому гнусу лесному спины свои подставляли. Понимали отцы – царствие будет там, а не здесь, на земле. За грех считали даже в бане хорошенько попариться: чем трудней, мол, здесь, тем легче там будет. Только временную жизнь устраивали здесь отцы, а нынешняя молодежь: давай хором, коня да дом! Вы-то как, гости дорогие, об этом думаете?

– Мы думаем, – ответил серьезно, не улыбаясь, очень властно и твердо Сутулов, – жизнь надо устраивать на земле хорошо и прочно. Так ли я говорю, товарищ Уланова? – сказал он, не улыбаясь, а только смягчая голос.

– Где же устраивать жизнь, как не на земле? – ответила Уланова. – Будем устраивать здесь, а на небе все само собой устроится.

И вдруг, увидав Зуйку, глядевшего на нее во все свои голубые глаза, как на зарю, улыбнулась ему.

– Тебя как зовут, милый мальчик? – спросила она.

– Зуйком, – ответил тот просто.

– Что за имя такое? – засмеялась Уланова.

– Имя его простое, – ответил, улыбаясь, Сергей Мироныч, как старые хозяева улыбаются чему-нибудь своему доброму и маленькому, – имя его Олешенька.

– А Зук?

– Это мы, рыбаки, так зовем: когда ловим сетями наживку, так маленькие чайки у нас, самые маленькие, проворные, ловкие, хорошенькие, между нами летают и наживку только что из самых рук не хватают. Вот мы и Олешеньку так с малолетства все: Зук и Зук.

– Вот, Зук милый, будь у нас и вправду с тобой крылышки, мы с тобой бы и полетели на небо.

Тогда наконец осмелился сказать и один из ребят:

– Лететь можно и на самолете, за этим дело не стало.

– На самолете туда не долетишь, – ответила Маша.

– Бензину не хватит! – весело и сочувственно подал свой хозяйский голос Мироныч.

– Нет, я не про то, – серьезно сказала Уланова, – у нас у всех есть свои крылышки, мы так и родимся с ними, и все бы летали на своих крылышках, да вот почему-то нам обламывают. Я к тому говорю, что жизнь наша коротка и так, а мы еще ее короче делаем и заставляем себя делать не то, для чего мы родились, не то, что нам самим хочется...

Зук про себя прошептал:

– По желанию...

– Как же так, деточка, – ответил Мироныч, – по-твоему выходит: как кому захочется, так и живи. Нас отцы учили жить не как самим хочется, а как надо жить.

– Правильно учили отцы, – ответила Уланова, – я не против этого говорю: лично себе-то мало ли чего захочется. Я, конечно, все это отбрасываю и стараюсь делать не как мне самой хочется. Но тоже по себе знаю: если что-нибудь мне до смерти захочется и я так поступлю, то это и будет непременно как надо.

– До смерти захочется, – шептал про себя Зук, вспоминая, как он то же самое думал о семге, прыгающей через падун на места гнездования: семге до смерти хочется туда пробиться, и у нее выходит как надо.

Маша Уланова раскраснелась, и заметно по всему, образованная женщина она была, а говорила среди простых людей так просто и почтительно, как будто это было общество людей самого высокого круга. Сергей Мироныч это очень хорошо понимал и, подумав о ее словах,

в увлечении принял их в таком смысле: до смерти захотеть, все поставить на карту, и тогда у каждого выйдет как надо.

– Ну и голова! – с восхищением воскликнул Мироныч. – Такая была только царица... как только звали ее, забыл: такая мудрая царица пришла к царю Соломону...

– Царица Савская, – подсказала Уланова.

– Ну и голова! – повторил Мироныч. – А ежели ты, царица, такая пряткая, то какой же должен быть у тебя Соломон!

– Саша, – сказала она, поглядев на Сутулова, – мне что-то стыдно становится такие похвалы получать. Не заслужила я.

– Мне тоже кажется, – с улыбкой ответил Сутулов, – не заслужила и рассуждаешь неверно. Мало ли что другому захочется.

– Я сказала: до смерти...

– Ну что ж, пусть другому до смерти захочется кроить людям черепа, так за то только, что он рискует, и подставлять свою голову? Нет, товарищ Уланова, это не выход для всех.

– Так разве я о всех говорю? Я о себе.

– Нет, Машенька, – согласился Мироныч, – это не выход.

– На уж! – сказал один зять.

– Что уж! – ответил другой.

– Неверно! – повторил Сутулов. – Человеку мало хотеть до смерти, ему еще нужен верный план, чтобы делать как надо. Все животные дикие живут, как им хочется, и жизнью своею постоянно рискуют: своими глазами видел, как семга прыгает по камням через падун и разбивается.

Зук слышно вскрикнул «а!» от удивления, и Уланова пристально на него поглядела. А Сутулов еще говорил:

– Человек тем и отличается от животного, что ему мало жить по желанию: человеку нужен еще верный план.

– Соломон, Соломон! Настоящий царь Соломон! – воскликнул восхищенный словами Сутулова Сергей Мироныч. – План должен быть у человека, план पहले всего. Лонись<sup>2</sup> мы вот тоже с сестрой спорили, я вот, тоже, хватил было по желанию, а она мне говорит: надо план, надо по плану жить, как отцы наши и деды жили: жить по Священному писанию.

– Неверно, – перебил старика Сутулов. – В этом Писании план определен на жизнь небесную: тут, на земле, как-нибудь жуликами, а там, на небе, будут ангелы и архангелы. У нас план должен быть один-единственный и на земную жизнь.

– А как же на небе? – спросил Мироныч.

– Это нас не касается, – ответил сухо Сутулов.

И нахмурился.

– Я сам, – сказал, подумав, Сутулов, – вышел из старообрядцев.

– Какого же согласия? – почтительно спросил Мироныч.

– Никакого согласия: деды были, как и вы, поморского согласия, а отцы называли себя «немоляками».

– А вы как?

– Безбожники! – решительно и громко сказала Марья Мироновна.

На минуту все смешались и замолчали. Стало неловко, но вдруг Уланова, улыбаясь веселыми глазами, сказала:

– Нет, какие же это безбожники, бабушка? Ты только получше к ним приглядишься: добрые ребята и никакие не безбожники, а вот знаешь, Сергей Мироныч, – обернулась она к старику, – хочешь, я сейчас тебе скажу, кто они?

---

<sup>2</sup> Лонись – значит намедни.

– Ну, скажи, скажи, Машенька!

– Вот и скажу: не безбожники они, а просто табашники, хорошие люди.

От веселого слова куда что девалось. Веселое слово пришло, как солнечный луч. Мироныч понимающим взглядом поглядел на Уланову и даже успел ей подмигнуть.

– Конечно, табашники, – засмеялся он. – Говорят, что жизнь новую хотят устроить на земле лучше небесной, а самим покурить до смерти хочется. Ну, ребята, потерпите немного, у меня есть клеть, ветерком вся подбитая, там и покурить будет можно. А сейчас пришло время, скажите нам, по какому же государственному делу вы к нам приехали?

– Я же вам уже сказал, – ответил Сутулов, – мы приехали к вам строить водный путь.

– Я не про то, что водный путь, – сказал Мироныч, – это я слышал, – а вот как же строить его: наше озеро неглубоко.

– Мы запрем ваш падун.

– Падун запереть?!

– Запрем падун. Вода подыметяся, и озеро станет глубоким, и по нем пойдут морские корабли.

– Сколько дней в году, – сказал Мироныч, – столько на озере островов, и на них есть пожни, есть нивы, деревни, люди живут. Что вы с людьми делать будете?

– Мы за большое дело взялись: лес рубят – щепки летят. Но все-таки мы не бросим этих людей. В три раза озеро больше будет, старые острова будут залиты, новые объявятся, и новые станут берега, и старые звери придут напиться новой воды. Вот мы туда с островов и переселим людей.

– Новые берега! Мы новых мест не боимся. Солнышко и туда будет заглядывать, путь этот из моря в море старинный, царь Петр шел этим путем: Осударева дорога и сейчас видна. Но только, ребята, никому не говорите, что можно падун запереть: смеяться будут.

Мироныч это беззлобно сказал, Сутулов с улыбкой еле заметной отстранился от спора. Потом гости сытые встали вслед за начальником, поблагодарили хозяев. Их уговаривали еще посидеть, побеседовать, – нет! им надо чуть-чуть отдохнуть – и за работу. Их уговаривали еще покушать словами: «Хлеб на хлеб валится», – нет! больше они не могли и ушли на другую половину, где отвели им квартиру и указали ту клеть, где можно будет и покурить.

Пока возились с гостями, пока устраивали их, пока выходили свои кто куда, кто зачем, и даже сама Евстолия Васильевна и Сергей Мироныч что-то свое вспомнили и вышли, Зук все лежал, все о чем-то крепко думал и не выпускал из виду перемен в обстановке за столом: чего-то напряженно ждал.

И случилось, на одну короткую минуту комната совсем опустела.

Этого, оказалось, Зук только и ждал. В один миг он окинул глазами все уголки и уверился: нигде никого не было. Тогда он быстро выскочил в одной рубашонке из-под полога, бросился к стене, где висело забытое круглое зеркальце, схватил его и, наверно, из последних силенок скачками, как заяц, вернулся в свою норку.

Зеркало было и свое в доме Сергея Мироныча, и в нем каждый мог видеть себя в изуродованном виде и думать об этом уроте: «Это я сам». Но Зук был уверен, и затем он и украл это зеркальце, что в нем не себя он увидит потом, а красавицу Марью Моревну.

Спрятав зеркальце, Зук крепко взялся за мысль свою о начальнике. Сравнивая начальника в дедушке с этим новым молодым начальником, он с жаром стал на сторону молодого и даже ясно увидел, что именно привлекает его в молодом. Дедушка всегда с людьми хитрит и виляет, как будто нарочно путает глупых и так заставляет их делать все непременно по-своему. А новый начальник обращается прямо и приказывает, как имеющий власть.

– Вот себе бы так, – сказал Зук и крепко задумался об этом: как бы и себе тоже выйти в такие начальники.

Мало-помалу все, кроме приезжих, вернулись к столу и заняли свои прежние места.

Потапыч, приглушив голос, спросил:

– Где у вас клеть-то?

И, увидев по качанию головой, что далеко и отсюда туда ничего не слышно, сказал:

– Жили вы тут в забытом краю, спали вы тут, как тюлени на солнышке, но помните, деточки, время вас углядело. Теперь всех оно вас переберет по косточкам, как и в других местах. Доехало, доехало и до вас...

Мироныч как будто немного смутился.

– Вот дело-то какое, государственное, – сказал он. – Хотят падун запереть. – И засмеялся недобрый смехом, повторяя: – Запереть, запереть...

А зятя за ним повторяли:

– Да уж, запереть!

– Что уж, так взяли, да и заперли!

## VII. Крест и проволока

Две уточки, вытянув свои длинные шеи, летели вперед, как две пущенные сильной рукой стрелы, и одна из них попала на проволоку. К ногам старика в длинном староверском кафтане упала первая жертва строительства – дикая утка без головы.

Лицо старика передернулось злобой: в дикой уточке он нашел предлог отвести свою душу в сторону от нового времени и от всего, что оно с собою приносит.

Да это и Мироновна еще постоянно нам говорила, что под конец проволоки опутают весь белый свет и мы все в этих проволоках запутаемся, как мухи в паутинных сетях.

Пришло время, и во всех направлениях потянулись черные нити, по столбам, по деревьям, по кустарникам, а местами и прямо по самой земле, и даже кресты на староверском кладбище приняли на себя это дело Антихриста.

Вот и задумался тот старец в длинном кафтане.

– Пожалуй, так, – сказал он, – и в могиле не будет покоя человеку: проволока найдет нас и там.

Покачал старец головой над убитой уточкой, что-то еще прошептал про себя невнятное, а уточку все-таки не бросил и взял ее, ничего не сказав, но про себя, конечно, подумал: «Дома годится».

Так оно все пошло и пошло: с одной стороны, все никуда не годится, свет кончается, а с другой стороны – всем от строительства что-нибудь и перепадает, и нельзя это бросить, и все это годится там, где свет не кончается, а только-только вот начинается, и это место у всех называется *домом*, и так каждый что-нибудь от строительства тащит домой, и так – свет не кончается.

Старый Мироныч рассуждал, конечно, заодно со своими единоверцами, особенно когда в праздники проводил время свое за столом, за беседой. Но как только он брался за дело какое-нибудь, тут у него все рассуждения расходились как туман, и если кто-нибудь вмешивался в его дело с божественными словами, лукаво прищурился и в раздумье сгребал обеими руками в один ком свою седую бородину.

Так вот, было однажды, Сутулов попросил у него разрешение повесить проволоку на большой крест перед домом. Мироныч поглядел на него – не пьян ли парень?

– Видите ли, – сказал серьезно и разумно Сутулов, – то бы надо крышу сверлить и потолок, а с креста можно прямо в окошко.

– Вот как! – весело засмеялся Мироныч. – Это как галка? Сядет на крест, оставит на нем свое белое пятно, а дождичек потом смоет – и нет греха. Но, милый мой, мы же с тобою не галки, с нас же ведь спросится.

И, захватив в обе ладони свою бородищу, открыл рот, как дурачок, голову свою запрокинул назад, все еще голубые глаза свои прищурил, и, холодные, как две шпаги, вонзил их в глаза Сутулова, и спросил его:

– А ты думаешь, паренек, что, может быть, и не спросится?

Сутулов, спокойно разглядывая, как бы изучая опрокинутого человечка в зрачке Мироныча, выдержал взгляд его и помолчал.

Мироныч бросил бороду, руки поставил в боки и, смеясь одними щеками, еще раз спросил:

– А может быть, и ничего не будет, все пройдет как-нибудь мимо нас без ответа?

Сутулов и тут выдержал и уже совсем серьезно, как должен один умный человек с таким же другим говорить, сказал:

– Сергей Мироныч, не доказывайте мне свой ум своим способом: я без того знаю, что вы умный человек, и очень вас уважаю. Вы поймите, мы отсюда должны разговаривать по телефону с Медвежьей Горой, а Гора стоит на прямом проводе с Москвой. У нас большое дело, и я с вами в государственном смысле говорю, вы же смеетесь: говорите про галку.

– Ну, ну, сынок, не сердчай, – потрепал Мироныч по плечу Сутулова. – За столом сидишь – все так ясно, а жизнь – это веревочка запутанная, найдешь кончик, схватишь, думаешь – вот нашел кончик, а потом окажется: это не кончик, а хвостик. Дела-то у вас торопливые, важные: понимаю, крест от проволоки не пострадает, вы же снимете скоро?

– Вот как только придет первый транспорт с каналармейцами, пустим их в лес, наделаем телеграфных столбов, и крест ваш освободим, и ничего ему от этого не сделается.

– Понятно, не сделается, – ответил Мироныч, – греха тут, правда, нет никакого, валите, ребята!

Случилось, как раз в это время Мироновна заготавливала березовый лист для зимнего корма коров и, когда возвращалась, нагруженная вениками с листобросницы, увидела оскорбительную для древнего благочестия картину: внизу с огромным мотком проклятой проволоки стоит Сутулов, а сверху на кресте сидит мальчишка, подтягивает на себя проволоку и, опутывая ею верхнюю перекладинку на кресте, кончик старается просунуть в дырочку на оконной раме.

Старуха так и замерла на месте, пораженная ужасным видением.

– Погодите, ребята, – вдруг закричал снизу Мироныч, не замечая неподалеку стоящей сестры, – так у вас ничего не выйдет. Вот я сейчас вилы подставлю, понимаешь?

– Понимаю, – ответил паренек.

И, опираясь рукой на подставленные вилы, в один мах, как обезьянка, перескочил с креста на подоконник.

Тут-то вот только пришла в себя от оцепенения Марья Мироновна, бросилась вперед, схватила за рукав Мироныча, быстро отвела его в сторону к стене.

– Это что же, – сказала она, – они тебя заставляют крест обматывать проволокой?

– Никто меня не заставлял, – ответил Сергей Мироныч, – делают с моего разрешения. Ты должна понять, тут все делается не против нас, а в большом государственном смысле.

И опять тоже, как с Сутуловым, бородищу свою забрал в обе руки и сквозь смех уставился холодными глазами, как шпагами, в душу Мироновны.

Она знала этот взгляд с малолетства и против него имела тоже свой собственный взгляд: обычная материнская скорбь на лице мирской няни тогда вдруг оставляла ее, и глаза становились беспощадными и грозными.

– Скоро, – сказала она с ненавистью и презрением, – они нос твой красный проволокой своей черной обмотают, а ты все будешь бормотать, как тетерев-петух, о своих государственных смыслах. Ну же, петух, прощай, зажила я у тебя, забыла, о чем человеку никогда нельзя забывать. Прости господи!

И, увидев неподалеку Зуйка, поманила его, прижала к себе, обливаясь слезами, будто навеки с ним расстается.

Мирская няня так много-много растеряла в миру спасенных ею детей.

– Прощай, прощай, деточка, – причитала она, постепенно переходя из этой памяти в ту, где не плачут больше и не смеются, не женятся и замуж не выходят и не родят больше детей.

Закрыв лицо руками, не прощаясь ни с кем, она прямо направилась к берегу, к забытому своему черному карбасу с белым черепом на двух скрещенных костях.

## VIII. Царица Савская

Мария Уланова стояла у окошечка против креста, все видела: и как пришла Марья Мионовна с листобросницы, и как она отвела старика к окошку, и слышала весь разговор. Когда же разгневанная Марья Мионовна пошла к берегу, Сергей Мироныч увидел в окошке Уланову и бросился к ней:

– Машенька, поди-ка скорей, уломай старуху, хорошая она, только вся живет в сарафане прошлого века. И как заберет это себе в голову, что свет кончается, так ей вынь да положь, чтобы сейчас он ей и кончился. Считаю, прыть эта у нее от гордости: была она у нас в молодости красавицей молодницей, первой краснопевкой на селе, а тут муж у ней возьми да и утони, да еще, как на грех, вскорости сыночек ее единственный годовалый помер, вот с тех пор она и стала такая: никакого нет у нее нашего хозяйства, живет у себя на Карельском острове вроде попа, ей все тащат, она и мнит – не здесь, так там, на том свете возьму я свое. Теперь на проволоку обижается, а смысла государственного понять никак не может. Поговори с ней, может быть, и отойдет. Я считаю, у ней это... И показал пальцем на лоб.

Уланова, быстро выйдя из дома, догнала Марью Мионовну с Зуйком у самого озера, там, где падун, трехголовый великан, неустанно день и ночь крутит и бьет наказанную воду.

День был солнечный, над белой бездной в брызгах сияла радуга. Марья Мионовна не слышала гула падуна, не видела радуги над хаосом бездны. Она стояла на камне, и этот камень был ей теперь всем, что оставалось ей от земли и природы. Один шаг только с этого камня – и черный гроб с белым черепом увезет ее.

В это время подошла Уланова, обняла Мионовну и, как это умеют делать только женщины, в один миг нащупала в себе свое пережитое горе, в нем узнала, как в зеркале, горе Марьи Мионовны. Увидев перед собою живые печальные глаза, услышав этот нежный певучий голос, каким у паозеров говорят только на могилах живые люди с только что умершими любимыми мужьями, женами или деточками, старуха опомнилась. И мало-помалу стала выходить из той памяти своей о конце мира, Страшном суде и возвращаться к общему нашему чувству радости жизни здесь, на земле.

– Родная моя, – сердечным голосом сказала она. – Рассуди нас, разумница, пойми, как это можно терпеть: святой Божий крест опутали чертовой проволокой, и кто попустил! родной брат – старик, у кого я живу.

– Что тебе старик, – загадочно и спокойно сказала Уланова. – Ты погляди, какого сыночка своего ты бросаешь. Зук! проси бабушку, чтоб не уезжала.

Зук удивленные свои глаза медленно перевел на бабушку и ничего не сказал.

– На что я ему теперь, старая? – ответила Марья Мионовна. – У него теперь есть наставница, молодая, красавица, умница. Ну, дай я еще обниму тебя, Машенька. – И чтобы не сразу сдаться, сослалась на ногу и поясицу. – Видно, – сказала она, – перед погодой скрутило: вот как скрутило, едва разогнуться могу.

– А ты сядь, – обрадовалась Маша, – посидим-побеседуем.

– Давай побеседуем, – охотно согласилась старуха.

И, отойдя по берегу в сторону падуна, они сели на большое, выброшенное водою бревно, хорошо обсохшее на солнышке. Зук сел возле на камень, слушая знакомый с малолетства разговор воды с камнями, и этот разговор старой бабушки с красавицей своей Марьей Моревной.

Хорошо помня слова Мироныча о том, что чаяние близкого конца света у сестры, может быть, вырастает от гордости и властолюбия, Уланова так и начала разговор:

– Бабушка, вот ты хочешь уйти от нас и, как я слышала, даже лечь в гроб и ожидать светопреставления и Страшного суда. Не гордость ли это в тебе говорит? Тут тебе не за что ухватиться, а там, на небе, новая жизнь начнется, и ты там себе хорошее место найдешь. И теперь, собираясь туда, хочешь с собою весь свет увести. Скорее всего это от гордости.

– Ну, вот еще, надумала, – ответила Марья Мироновна без всякой обиды. – И что ты в этих наших делах понимать-то можешь! Это брат тебе наговорил: он часто меня попрекает гордостью и любоначалием. Гордость, милая, и любоначалие от дьявола. Я же верую в Бога истинного и не для себя ищу власти. Слабость в людях началась, от слабости вражда, болезни...

Как только Зук услышал теперь от бабушки о слабости, так уж знал вперед – она непременно станет рассказывать о венике, как он плыл по реке вниз и сманивал пустынников в баню париться к верхнему жителю и как потом пустынники силу свою направили, чтобы им легче жить, а для чего живут – забыли. А царь Петр, увидав их слабость, назначил им отливать пушки, и они кончились, а слабость между людьми все росла и росла.

– Что ты, милая, – говорила Марья Мироновна, – какая во мне гордость, и мне ли братья за власть над этими людьми. Вот, слышишь, падун шумит – сколько в нем, погляди, разных струек, и всякая струйка, сшибаясь с другой, имеет свой говорок, а падун все один, крутит воду, бросает. Так и человек тоже, собирается как один, что-то делает, а эта слабость к тому приводит, что каждый о себе только помышляет, будто он один для себя живет и все для него.

– Бабушка, – воскликнула Уланова, – да разве эта слабость только у вас тут на Выгозере? Эта зараза весь свет охватила, вот я вам о себе сейчас расскажу, вы поймете.

И тут Зук услышал такое, о чем старшие говорят между собою, не стесняясь детей, думая, что дети такого ничего не понимают, но это неправда: дети понимают, только по-своему. И Зук тоже из рассказа своей красавицы Марьи Моревны делал свою собственную сказку о каком-то Степане, охваченном слабостью к Зеленому Змию. Змий тот высасывал его силушку, и Степан, бессильный, много делал из-за этого зла. Но Марья Моревна не пожалела и сама рассказала товарищам всю правду о Степане.

– И какого человека Змий погубил! Ах, бабушка, – воскликнула Маша Уланова, – какой это был человек!

– Ну, где ж теперь друг-то твой, жив ли?

– Доходят слухи, жив. Да я не слушаю. Думаешь, легко мне было оторвать от себя человека? Признаться, я не от слабости его бежала, а что он из-за этой слабости стал злейшим врагом нашего дела. Ох, трудно, трудно, бабушка, все сказать. Но скажу: я сама должна была любимого человека от себя оторвать.

И тут Зук понял, что его Марья Моревна вышла сильнее даже Ивана-царевича из сказки: Иван-царевич разжалобился и дал напиток Кашею Бессмертному, когда тот окован сидел. Кашей напился и разорвал цепи, как веревочку.

А Мироновна, старуха, – нужно же так! – тоже вроде Зуйка обрадовалась:

– Вот, вот, умница, правильно ты поступила: не мир с такими людьми, а меч. Я из-за того только вот и теперь брата родного бросаю.

Тут Маша с досадой сообразила, что палочку свою она перегнула. Надо было дело как-то поправлять...

– Ну что ж, признайся, до конца ты вырвала слугу Змия из памяти? – продолжала между тем расспросы Мироновна.

– Как сказать... Вырвала? Я у всех на глазах работаю, и на работе все видят меня впереди. Но возьмите, к примеру, пчелу. Она летит на каждый цветок за медом. Понимаете?

– Ну, понимаю.

– Так вот я тоже пчела, лечу на каждый цветок, все думаю: не он ли? Остановлюсь и не лечу: меня встречают только пустые цветы.

– И тебе нет утешения?

– Не могу, бабушка, утешиться, как иные женщины. Мне нужен не утешитель, а сам мой единственный, настоящий человек. И нету его после Степана...

Уланова остановилась на минутку и молча глядела в сторону падающей воды, как будто там, в белой пене, что-то видела.

– Ты думаешь, бабушка, – сказала она, – ты одна мучаешься слабостью человеческой, тебе одной только хочется, чтобы люди становились душа к душе? Ты не одна такая, и я не одна, а удар должен быть один.

– Вы – безбожники! – вздохнула, недоверчиво покосясь на Машу, старуха и поджала сухой рот.

– А ты на это не гляди – нам это твое, как бы тебе сказать? – не с руки: мы на человека в упор смотрим, мы собираем человека из простых, обыкновенных трудовых людей, собираем и куем в своей кузнице. Глядишь, может быть, и перекуем человека. Нет, бабушка, мы тоже этим бодем. Мы хотим собрать воедино всего человека, чтобы каждый жил не для себя одного, а вот как листики на дереве: ни один листик на всем дереве не сложится с другим, а каждый работает по-своему на все дерево. Каждый на всех, и все на каждого.

– Как же это вы сделаете?

– Само к этому идет, во всем мире идет, а мы помогаем. Ты о конце думаешь, а мы о начале. Тебе кончается свет, а нам начинается.

– Ага! – подал неожиданно голос Зук, и обе женщины удивленно к нему обернулись: про Зуйка-то они и забыли.

– Ты это чего? – спросила Уланова.

Зук обернулся к бабушке и ей тоже сказал:

– Ага! – и энергично мотнул сверху вниз головой.

Обе женщины засмеялись, и старая и молодая. И Уланова сказала:

– Так-то вот мы часто говорим при детях, думаем, они ничего не понимают.

– Все, все они по-своему понимают, – ответила Мироновна, приходя в доброе расположение духа. – Вы, деточка, – сказала она Улановой, – так я понимаю, тоже людям хотите добра, только все-то у вас проволоки и табак.

– Не все же у нас табашники, – лукаво улыбнулась Уланова. – Вот я никогда не курила.

– Боже сохрани!

И опять с той же лукавой улыбкой, как мать ребенку своему, Уланова сказала:

– Вы что-то, бабушка, о ломоте своей в поясице говорили. А у меня от этого мазь есть. Натрем с вами на ночь – и как рукой снимет. Пойдемте со мной, я помогу. Хорошая мазь!

– Разве что мазь... – ответила Мироновна.

И с трудом стала подниматься с бревна.

Сергей Мироныч немного боялся сестры и остужаться с ней не хотел. Наблюдал он ее теперь незаметно во время своей работы. Поглядывал в ту сторону, где беседовала с ней Уланова, с некоторым беспокойством ждал исхода этой борьбы: уедет старуха на своем карбасе или вернется домой? И когда Мироновна поднялась с бревна и все направились с веселыми лицами домой, сам очень повеселел и сказал:

– Уговорила! Ну и Машенька! Истинная царица Савская. Дай Бог ей царя Соломона.

В простоте мужской рано успокоился старый Мироныч добрым исходом ссоры со своей упрямой сестрой. Но не так-то проста была тропинка женской души. Вон она, тропинка в северном лесу: там вильнула от упавшего на путь ветродуйного дерева, там мочежинку обходит, пенья, колодья, болотные заросли и всякие лесные заглушины. Тоже так и Марья Мироновна. Она искренно поддалась на слова Улановой о борьбе со слабостью человеческой, и по этой мысленной тропке она охотно пошла на прямую, чтобы под предлогом строительства канала собирать человека. Ей вспомнилось то время, когда она потеряла мужа и сына и сама как бы вышла тогда из себя и стала людям служить. Так она и Машу теперь понимала, что потеряла она любимого человека и тоже работает на пользу всего человека.

«Какая хорошая, – сказала про себя бабушка, – молодая, красивая, умница, не может быть этого с ней, чтобы всю жизнь летала, как пчела, на пустые цветы. Бог пошлет ей хорошего человека. А кто знает, может быть, и сам этот Степан к ней вернется...»

И вот тут ее тропинка повернула в сторону. Ей подумалось остро и больно не за себя одну, а за всех, кого она проводила на тот свет, по ком она столько лет вопила: к этим людям никогда не вернется больше Степан, и им не за что ухватиться на земле, и им нет утешения, и каждого это ждет, и потому нет и не может быть на земле утешения.

Дома Мироновна не показала никаких следов душевной тревоги. Все подумали, будто Маша успокоила разгневанную бабушку и она по-старому будет жить с ними. Мироновна усердно помогала мыть посуду, убирать горшки на места, сама замесила даже и тесто и задала корм скотине. А когда все уснули, долго на коленях молилась перед старинными образами.

Когда в избе все стихло, бабушка поднялась с пола, оглядела все, уверилась – все спят. Потом долго крестила спящего Зуйка, что-то шептала старыми губами, унимая бегущие слезы.

Нашулав в сених весло, она вышла из дому.

Была светлая северная майская ночь. На небе, цветущем всеми цветами, черными силуэтами вырезались на холме тесные высокие ели староверского кладбища. Числа нет покойникам, сколько свезли староверы под рев падуна своих людей и зарыли в песок. С тех пор как начали возить, сосны сменились елками на песчаном холме и новые деревья стали старыми. И сколько с могил свалилось деревянных восьмиконечных крестов! Сколько на их место поставили новых! И сколько косточек человеческих перемешалось в равнодушном песке!

Вот теперь, светлую ночью, старец в длинном староверском черном кафтане с удивлением и ужасом всматривается и видит на земле необычайное множество темных нитей. На столбах, на деревьях, на кустарниках, на самых крестах кое-где раскинута эта страшная ткань.

И что это? Как будто сама смерть в длинной черной одежде с веслом в руке подходит к берегу, садится в свою черную лодку с белыми крестами.

И смотрят на нее в оцепенении светлую ночью и только ничего не могут сказать высокие черные камни, и сосны, и ели, и между деревьями старик в черном кафтане.

А смерть все плывет и плывет, и за ней остаются на воде два бесконечных крыла: одно от зари красное и голубое от неба – другой стороны.

Так уплыла к себе на Карельский остров Марья Мироновна.

## **IX. Приказ с Медвежьей горы**

Напрасно обижались староверы на проволоку, ничем она не была виновата, она честно служила человеку и несла его слово по назначению туда, где люди вступили в борьбу за свое лучшее с природой на Севере.

Железная проволока, перебегая от столба к столбу берегом широкой Невы, обогнула все Ладожское озеро; пересекая реки, болота, леса, поднялась вверх на Масельгский хребет – водораздел морей Балтийского и Белого. Обошла все Выгозеро и в Надвоицах нырнула в дырочку над окном дома, снятого под контору строительства Беломорско-Балтийского канала.

Зазвенел телефон, из смежной комнаты вышла Уланова в своих кавалерийских штанах, в рыжей с плешинками куртке, выдавшей всякие виды. Из передней на звонок прибежал тоже и курьер Зук, проживавший теперь здесь при конторе.

Уланова записала приказ от Медвежьей Горы: «В Надвоицы направляется транспорт каналоармейцев. Принять завтра первую тысячу. Бросьте их в лес».

Когда Уланова записала, Зук вопросительно посмотрел на нее, умышленно сделав располагающую к ответу рожицу – мальчишки в этом разве только немного хитрее собачек.

– Это приказ, – ответила Уланова на молчаливый вопрос.

– А кто приказал?

– Медвежья Гора.

Зук раздумчиво помолчал. Уланова переписала приказ и с большим волнением сказала вслух:

– Сразу, и тысячу человек!

Услыхав восклицание, Зук осмелился спросить:

– Как это может гора приказать?

– Глупенький, – улыбнулась, несмотря на все свое волнение, Уланова, – на Медвежьей Горе стоит Управление строительства всего канала. Там живет главный начальник, имеющий власть нам приказать принять тысячу рабочих.

– Имеющий власть, – повторил Зук, – живет всегда на Медвежьей Горе?

– Нет, – смешалась немного Уланова, – имеющий власть – это все мы. Власть исходит от всех нас, а на Медвежьей Горе живут просто начальники, такие же, как и мы, только постарше.

– Непонятно мне, – ответил Зук, – скажи, что это власть?

– Этого нельзя объяснить.

– Жалко, а все-таки попробуй, может быть, я и пойму. Дедушка у нас самый умный, а говорил постоянно: я могу все понять, как большой. Хочешь, я всю былинку про Илью Муромца на память скажу!

– Нет у нас сейчас для болтовни времени, – строго сказала Уланова, – приказываю тебе: беги со всех ног к Сутулову и передай ему этот приказ. Довольно болтать: я приказываю – ты исполняешь: власть моя.

– Понял, – радостно воскликнул Зук, – Медвежья Гора тебе приказала – и от нее власть перешла; ты мне приказала – и я побегу приказывать Сутулову: теперь власть моя!

Уланова засмеялась, покраснела, глаза ее сверкнули живым огнем, и она опять даже и в своей плешивой куртке стала похожа на ту красавицу, какой спрятал ее Зук в своем украденном волшебном зеркальце.

– Нет, нет, – засмеялась она, – я ошиблась: власть не моя, не твоя: мы с тобой, как столбы с проволокой, и власть бежит от меня к тебе, как по столбам электричество.

– А что это – электричество?

– Погоди немного, мы скоро откроем школу, и я тебе там объясню: тебе уже давно учиться в школе надо. А теперь ты курьер и немедленно, сломя голову мчись с приказом к Сутулову.

Когда Сутулов явился в контору, Уланова, очень взволнованная, бросилась к нему навстречу.

– Что делать?

Сутулов совершенно спокойно с удивлением поглядел на нее.

– Что нам делать, – воскликнула Уланова, – сразу тысячу, а на другой день, может быть, и еще?

– Скорее всего, – спокойно ответил Сутулов, – оно теперь так и пойдет: тысяча за тысячей, и повалится к нам человек, как вода в падуне. Вполне нормально. Чего ты волнуешься? Все запланировано.

– Знаем мы, как там у нас запланировано: цифры послушные, а у людей – кровь, живот, кишки, чем мы их будем кормить?

– Возьми себя в руки, Маша!

Зуек это заметил: Сутулов его Марью Моревну просто Машей назвал.

– Шлют людей, – продолжал Сутулов, – шлют и продовольствие, и цифры о том же говорят: сколько людей, столько и ртов. Если же, посылая людей, кто-нибудь ошибся, наш долг взять ошибку на себя, а не ворчать, как лягушки в болоте.

– Ты, конечно, прав, друг мой Саша, – засмеялась Уланова.

Зуек опять и это заметил: Уланова такого большого начальника назвала просто Сашей.

– В этих делах, – сказала она, – ты всегда прав и работаешь, как...

– Она бросила взгляд на окно с прибитым в раме термометром:

– Как термометр – Реомюр.

– Почему Реомюр? – слегка улыбнулся Сутулов.

– А потому, что Реомюр ведь тоже когда-то был человеком, физиком, а теперь Реомюр не человек, а термометр, и он всегда прав. Ты – реомюр.

– Могу сказать только: спасибо за честь.

– Куда же мы все-таки завтра их, тысячу человек, денем? – спросила она начальника каким-то чужим и холодным голосом.

Сутулов поглядел в окно, где за Выгом синели леса.

Зуек побоялся за Сутулова и подумал: «Вот, кажется, и сам начальник не знает. И что это будет, если со всей страны, из всех мест хлынет падун из людей?»

Это он сразу понял и очень запомнил слова: «Человек повалит со всей страны, как вода в падуне».

Зуек понимал, как всякий мальчишка, что если он только захочет поехать на паровозе, то сядет на стул, засвистит, и этот стул будет ему паровоз. Если сядет под стул и загудит – стол делается пароход.

А Сутулов, как понял Зуек по себе, сделал из человека падун, и Зуек уже принял это себе и уже слышит и видит, как бьется вода в падуне.

Гул такой, что и земля даже чуть-чуть как будто колышется. Тысячи струек бьются друг с другом, столбами взвиваются вверх, и падают, и сливаются.

Вся река упала, разбитая на брызги в борьбе, и опять все сливается, и весь водопад единым гулом гудит. Так и весь разбитый падающий человек соберется и будет идти все вперед и вперед.

И отчего-то поднялась в душе радость, как бывает в сказках, когда изрезанного в куски человека взбрызнули живою водой, и опять живой Иван-царевич шагает все вперед и вперед.

Так про себя маленький курьер переживал разговор двух его начальников. И он даже немного побоялся за Сутулова, когда на вопрос Улановой «куда мы их денем?» тот раздумчиво поглядел в окно, где синели леса.

Но Сутулов колебался только мгновенье, и у Зуйка его страх за начальника пролетел, как сон, тоже мгновенно. Сутулов перечитал приказ: «В Надвоицы направляется транспорт каналармейцев. Принять завтра первую тысячу. Бросьте их в лес».

– Чего же тут еще думать, – сказал Сутулов, перечитав приказ, – мы их всех бросим в лес!

– Вот это так, – обрадовался Зуек. – Приедет тысяча человек, и мы всех их бросим в лес. И так, каждый день, тысячу за тысячей – в лес. Вот это власть!

Зуек вдруг понял все. Теперь не надо больше никого спрашивать, он лучше всех знает, что это – власть. Бывает, мчится тучей колдун за Иваном-царевичем, никакой конь не может убежать от тучи, но власть на стороне Ивана-царевича. Добрая сестра Сокола уронила одну слезинку, и ею, одной только слезинкой, Иван-царевич помазал копыта коня, и тот летит быстрее тучи, быстрее молнии. Да и мало ли как можно спастись, если власть в твоих руках. Да если

бы и на куски изрезали Ивана-царевича, и то является власть, как живая вода, и все кусочки срastaются. Та же самая власть была и у Сутулова, когда он приказал бросить всех в лес.

– А как далеко мы их бросим? – восхищенно и робко, с замиранием сердца спросил Зук.

– Мы бросим их, – продолжал Сутулов, не обращая внимания на слова мальчика, – в леса, на ту сторону Выга, и они там скоро сами себе выстроят жилища. В два месяца у нас там вырастет город.

Больше Зук не мог вынести напора радости. Ему хотелось подумать обо всем одному.

– Сегодня, – сказал он, – они еще не приедут, и нам нечего делать. Можно уйти?

Сутулов засмеялся и сказал:

– Вот тебе, Маша, у кого надо учиться спокойствию: выслушал и сделал правильный вывод. Мы с тобой сегодня тоже перед большим делом пойдем, поговорим, соберемся с силами. Ступай побегай, Зук.

И Зук побежал.

Он знал вперед, куда он побежит. Ему крепко-накрепко запали в душу эти слова: «Человек будет падать сюда со всей страны, как вода в падуне», и что есть у всех у нас какая-то власть сделать все хорошо. И как только он вышел из конторы, сейчас же весь свет сомкнулся вокруг, плотно обнял его, и стало, будто весь мир теперь попал в его власть, и все будет теперь, как только ему захочется, и ему захочется непременно такое, отчего будет всем хорошо.

Откуда берется и почему оно проходит потом у взрослых, это дивное чувство цельного мира, когда кажется, будто если в этом мире самому хорошо, то непременно должно быть и всем хорошо, и тянет ко всякому обиженному наклониться, утешить его, спящего разбудить на радость, а с таким же веселым, как сам, обняться и ускакать.

И нет усталости, и нет конца ничему. Так человек входит в мир, так мир начинается.

Путем скачущей семги, с камушка на камушек, облитый водой падуна, Зук подымается все выше и выше, к знакомой печурке в скале, где он с кротилкой в руке с малолетства наждал семгу. Теперь он забрался сюда только затем, чтобы послушать падун и подумать о человеке: как он тоже, человек из всей страны, будет падать сюда. Мельчайшие брызги подымаются над падуном, как белая прозрачная одежда черного трехголового великана, и в этих брызгах, пока солнце ходит по небу, держится радуга.

Вглядываешься в эту борьбу разных струек и брызг между собой, и начинает казаться, будто все они без конца только дерутся. Утомительно станет от этой вечной борьбы. Но только глаза отвел – и опять тянет, тянет, как будто настойчиво требует, чтобы непременно ты оглянулся, поглядел. И когда теперь поглядел, все стало по-другому. Весь водопад, как единое существо, живет своей цельной жизнью, и сквозь хаос и гул явно слышишь, как будто кто-то великий ступает, и все вперед и вперед...

Но этот мерный шаг ведь слышится и в каждой сказочке, и в каждой песенке, и так трудно сказать, было ли все это для всех или только в душе у мальчика, сына сказителя, складывается новая сказка. Но, может быть, об этом можно узнать, если близкий друг подойдет и услышит он то же самое: тогда можно верить – это все не у меня только складывается для себя, а и вправду сам падуна живет какой-то единой жизнью, и сквозь гул и хаос слышится мерный шаг: все вперед и вперед.

И Зук услышал сквозь гул и хаос несвязные человеческие слова, и так явственно, что даже поглубже отклонился в печурку, чтобы его не увидели. На мгновение слова перестали доноситься, но вот опять все ближе и ближе.

– Какая славная печурка! – сказал первый голос.

Зук сразу узнал голос Сутулова.

– А вот и камень тут удобный, давай сядем на камень.

Зук узнал голос Улановой. И даже увидел ясно из темноты на свет, как они сели рядом на камень.

– Тебе не бывает так, Саша? – спросила Уланова...

Сашей назвала...

– Не бывает с тобой на улице большого города, среди множества незнакомых людей, похожих на брызги падающей воды? Тоже так: через короткое время утомляешься разглядывать лица отдельных людей, эти осколки и брызги в бездну летящего человека. Но только отвел глаза – и тебя настойчиво тянет еще поглядеть, и когда послушался-поглядел, то прямо встретил в толпе какое-то знакомое, родное лицо. И в этом мелькнувшем лице вдруг соберется и определится весь человек на улице, как единое существо, и ты веришь и знаешь, что человек один и мерным шагом идет все вперед. С тобой так бывает?

– Маша, – ответил Сутулов.

Машей назвал!

– Маша, я люблю слушать тебя на досуге, и если бы не дело мое, то я тебя бы все слушал и слушал. Но я прикован к делу и все это отгоняю от себя. Некогда мне, дорогая! Но когда слышу тебя, то вспоминаю, да, это и у меня тоже было. И не только на улице, а везде: мелькнет что-то в лице человека, и все сразу поймешь и ответишь ему. Я только не знаю, для чего это все поднимать из себя? Боюсь, не это ли тебя вдруг останавливает.

– Не понимаю, что ты хочешь сказать?

– Да вот что сейчас только было в конторе. Ты такая умница, в тебе столько мысли и знания, такой ты опытный работник, и вдруг останавливаешься перед каким-то пустяком. Мы взялись построить канал, соединяющий Белое море с Балтийским: шуточное ли дело! И вдруг ты остановилась перед таким пустяком – куда нам деть людей. Тебе же известно, что план разработан в мельчайших подробностях и дан на места. И вдруг, как в сказке, чего-то пугаешься, как будто ты Зук, а не управделами. Мы бросим их в дело, и увидишь, через два месяца, самое большое, у нас будет выстроен город.

Услыхав слова: «Целый город в два месяца», Зук задрожал весь от радости и чуть-чуть не выдал себя. Ему стало страшно, как бы теперь не открыли его.

Такие уж, наверно, все печурки: раз залез – то и начинаешь света бояться!

– Маша, – продолжал Сутулов, – мы делаем с тобой такое большое дело, вместе учимся, вместе с тобой изменяемся и растем. И такой ты молодец! Но откуда это берется у тебя, что как только ты освободишься от дела, так и начинаешь бесполезно болтать и щебетать, как птичка?

– Милый Саша, ты очень сильный мужчина и можешь весь войти в дело свое и превратиться из Реомюра в термометр. Ты в этом прост, как ребенок, и я тебя очень за это люблю. Я же сама себе постоянно приказываю, я все время твержу себе: «Надо! надо!» – и только чуть-чуть оторвусь от дела – сейчас же пускаю себя на свободу, и болтаю о всем, что мне захочется, и никак не могу, да и не хочу, должно быть, превращаться в термометр.

А там, в падуне, в это время что-то большое делалось. Может быть, целое столетие вода была в какой-нибудь камень, подвигала-подвигала его и вдруг сейчас одолела и сбросила в бездну.

– Что это? – вздрогнула Уланова.

– Не знаю, – спокойно ответил Сутулов. – Мало ли что происходит в скалах под водой. Ты вот лучше скажи, дай мне последний ответ.

Уланова обе руки свои положила ему на плечи и ответила:

– Я люблю тебя, Саша, но...

Сутулов явно потемнел в лице, а Зук в своей темной печурке сморщился: ему ужасно жалко стало Сутулова. Оказалось, что и у такого железного начальника есть свое желание и что-то ему хочется.

– Видишь, Саша, я люблю тебя, но мне кажется, я так многих могу любить.

Сутулов еще больше потемнел в лице.

Зук никак не думал раньше, чтобы Сутулов мог сделаться, как мальчик, несчастным.

– Вот и начальник! – покачал он головой.

– Не огорчайся, Саша, – продолжала Уланова. – Это, может быть, не самое главное. Если я остановлюсь на тебе, то пойми, я остановлюсь навсегда. И тебе хорошо со мной будет. Но мне сейчас мешают... как бы это лучше тебе объяснить? Хвосты мне мешают.

– Какие хвосты? – воскликнул Сутулов, теряя вдруг все свое спокойствие и даже весь изменился в лице.

– Не пугайся. Все хвосты – пустяки, но большой хвост только один, и он мне серьезно мешает.

Сутулов опустил голову.

– Встряхнись, Саша, не горюй. Завтра возьмемся за дело. Я знаю, ты дело свое ставишь больше себя, правда?

Сутулов в ответ поднял голову, поглядел на нее удивленно, глазами ясными, прямо, решительно.

– Правда, – повторила Уланова, – больше себя?

– А как же? – ответил Сутулов.

Помолчал немного.

– В каждом деле, – сказал он, – вырастает человек и становится больше себя.

И так это сказал, будто ему даже не совсем был понятен вопрос о какой-то замене или смешении личной жизни с общественным делом.

– А как же, – повторила со смехом Уланова. – Ты, Саша, прекрасный, я тебя очень люблю. Ты, конечно, лучше, много лучше моего Степана.

– Степана, – прошептал Зук, вспоминая, как она тоже в беседе с бабушкой упомянула о каком-то Степане.

– Какого это Степана? – совершенно спокойно спросил Сутулов.

Но тут водопад еще какой-то камень обрушил, и это послужило толчком для беседующих – они встали и ушли.

Для Зуйка ответ Улановой на вопрос – «кто Степан?» – смешался с говором струй падающей воды.

Выждав немного, Зук вылез из печурки. Ему все было понятно и все прекрасно в Сутулове: как этот трехголовый великан, неумный падун, – начальник воды, управляет и властвует водой и образует в ней мерный ход, так и начальник людей Сутулов завтра же начнет устраивать человека, падающего из всей страны. Сутулов любит свое дело больше себя самого. Но Зуйку теперь все непонятно стало в Улановой: и этот ее какой-то Степан, и какие-то эти хвосты, – особенно эти хвосты были ему непонятны.

И он вспомнил о зеркальце, какой осталась в нем Марья Моревна. Это зеркальце еще тогда, по приезде строителей, было спрятано в печурке. Зук был уверен в этом волшебном зеркальце – там настоящая Марья Моревна.

Разве сейчас открыть его, поглядеть?

Зук уже хотел было вернуться в печурку, но ему стало немного страшно: а вдруг он там ничего не увидит? Так он и раздумал пока спрашивать зеркальце и, спускаясь с камня на камень, все гадал о хвостах: что это за хвосты, какие это у Маши хвосты?

## Х. Падун

Когда в Смутное время какие-то *паньы*, разбегаясь по русской земле, попали тоже и на Выгозеро, то будто бы какой-то местный выгозерский Иван, подобный Ивану Сусанину, посадил панов в большой карбас и повез их по озеру в Надвоицы. Проезжая мимо Карельского острова, паньы услышали отдаленный гул падуна.

– Что это? – спросили паньы.

– Наше счастье! – ответил Иван.

И повез их дальше и дальше, и все ближе и ближе к Надвоицам. Тут перед самым селом на реке есть Еловый островок, совсем маленький. Тут могучий Выг, разделяясь этим камнем, прямо и падает в бездну, образуя падун.

Незаметно устремляется вода могучего Выга к падению, и ловкая привычная рука опытного кормщика легко перевозит карбас через струю. Но Иван пустил карбас с панями по струе. Лодка понеслась стрелой к Еловому острову.

– Что это? – вскрикнули паны, догадываясь о беде своей только у самого острова.

– Наше счастье! – ответил Иван. И бросил карбас в падун.

Кто мог видеть это и слышать последние слова северного Ивана Сусанина?

Говорят, будто в солнечный день, когда в мельчайших брызгах падуна появляется *рай-дуга*, хороший человек может видеть лицо Ивана и слышать, как явственно падун выговаривает эти слова:

«Наше счастье!»

И правда, если пристально глядеть в падун, то брызги его складываются в то самое, о чем думаешь. И звуки падуна образуют те же слова, какие держатся у нас на кончике языка.

Работнику, наморенному за день устройством вновь прибывающих, как бы падающих со всей страны людей, было на что поглядеть в падуне: все там показывалось вновь, что за день в глазу набралось.

Ехали, будто падали, из неведомых недр разноплеменной страны десятками, сотнями, тысячами люди белые, желтые, черноглазые, голубоглазые, светловолосые, и черные, и рыжие. Были среди них худые и гибкие телом, с горящими как уголь глазами горцы, были коротенькие, на кривых ногах, жители степей, черкесы, киргизы, узбеки, были даже в чалмах, татары в халатах, раскосые монголы в своих тубетейках, и русские смешивались в наречиях: орловские, рязанские, владимирские, ростовские, сибирские...

Уланова вошла в один из наскоро сколоченных бараков, имея задание живым впечатлением понять начало жизни строителей, и ей хотелось бы в душе добиться от каждого, чем бы он мог быть лично полезен общему делу.

Она сидела за простым некрашеным столом в своей кожаной куртке, со своим собственным приказом в душе, и он выражался на лице строгостью и готовностью во всякий момент к решительному действию.

В этом закованном в закон рядовом воине строительства в не снимаемой с головы военной фуражке, с пистолетом за поясом только один Зук мог видеть где-то в глубине глаз и движении головы скрытую, затаенную Марью Моревну. Но и Зук даже временами терял ее из виду и вспоминал ее только по зеркальцу, спрятанному в камнях.

Они подходят бесконечной очередью и так же исчезают потом, как брызги водопада. Но весь труд Улановой в том, чтобы не дать вконец ослабеть вниманию, ожидающему встретить в каждом новом лице образ человеческий, соединяющий все мельчайшие брызги в единое существо человека с мерным шагом вперед и вперед.

Вот выходит красивый молодой человек в женском малиновом берете, брюнет с голубыми глазами, в черных усиках, с мелкой надменной улыбкой, со скрещенными на груди руками.

– Вы – русский? – спрашивает Уланова.

– Совершенно верно, мадам, я русский.

– Ваше имя, отчество и фамилия?

– Фамилии у меня не было, отчество свое – увы! – я забыл, а имя мое – честь имею представиться, мадам, я – Рудольф.

Зук с восхищением, не мигая, глядел на Рудольфа, удивляясь, что вся власть над этим человеком была у начальника Улановой, а он вел себя, будто вся власть была в его собственных руках.

Приложив руку к своему малиновому берету, Рудольф в то же время обнажил свою грудь, расписанную синими знаками.

– Перестаньте ломаться, – ответила Уланова совершенно спокойно, как будто имела дело с ребенком. – Меня вы не удивите ни татуировкой своей, ни выдуманным именем: вы для меня не демон, и нечего вам так мне улыбаться.

Что-то дрогнуло в лице Рудольфа, улыбка сама собой сбежала с лица, и руки опять возвратились на грудь.

Тогда Зук перевел свой пристальный, немигающий взгляд с Рудольфа на Уланову и понял, что Рудольф сдал и власть перешла к Улановой.

– Чем вы раньше занимались, чем вы можете быть здесь нам полезным?

– Только пальчиками, – ответил Рудольф.

И, опять отняв от груди одну руку, возле самого лица Улановой заиграл своими пальцами, бледными, тонкими и длинными, как у пианиста.

– Фальшивомонетчик? – догадалась Уланова.

И совершенно спокойно, даже с чуть-чуть заметной усмешкой вглядываясь в лицо фальшивомонетчика, тихонечко, настойчиво и выразительно постучала по столу.

– Уберите свою руку, – сказала она. – Ничего фальшивого нам здесь не надо. Мы здесь на правде стоим. Вы пойдете у нас на лесные работы, и вас там научат работать не пером, а топором.

– Мерси, мадам! – ответил Рудольф и присоединился к тем, кто отправляется в баню.

После своего великого пахана и лорда по очереди подходили всякие урки, скокари, домушники, «лепарды», шакалы, волчатники, медвежатники, мастера мокрого дела и самые мелкие воришки, мелкие люди – хорьки и мышата, какие ходят в городах по карнизам домов, проникают в квартиры, спускаются по водосточным трубам, – бедные мышата! – бывает, обрываются и летят с высоты больших этажей, с балконов и крыш на мостовую.

Было странно Улановой, что эти люди в своем падении, теряя образ человеческий, сами себя называли леопардами, волками, медведями, хорьками, мышатами, как будто вся природа была явлением падения чего-то великого, что называется у нас человеком.

«А если человек поднимается, – подумала Уланова, – то ему всегда кажется, будто и вся природа с ним поднимается».

И так захотелось ей отдохнуть на восходящем человеке, узнать хотя бы одно лицо!

После множества уроков и урканов стали приходиться люди из деревенской массы, которых раньше у нас называли просто мужиками. Но и эти мужики здесь были тоже не просты и только для виду по старой привычке представлялись иногда дурачками. Вот из них выходит высокий, статный, в черной окладистой бороде.

– Ты кто?

– Иван Дешевый. – Ясные, открытые глаза его моргнули так же быстро и незаметно, как бывает у ястребов, мелькнет на глазу на мгновение белая пленка. И уж если у человека такое мелькнет, то это надо непременно заметить и быть осторожным.

Уланова это заметила.

– Чем виноват?

– Землю потерял, – ответил Дешевый.

И опять мелькнуло у него в глазах, как у сокола.

– Можно рассказать?

– Расскажите.

– Пошел я свою землю искать и попал в большое собрание. Выходит человек от партии эсеров и говорит нам, делегатам: «Смотрите, мужики, крепко, спаянно держитесь, чтобы земля у вас не проскочила между пальцами». Я это хорошо запомнил и крепко-накрепко сжал пальцы. После того выходит другой оратор и говорит: «Ежели первый оратор сказал вам „а“, то я сейчас скажу вам „б“».

– Кончай скорей, – потребовала Уланова. – К чему ты ведешь?

– К чему я веду?

– Ну да, к чему, скорей?

– Вот я и забыл.

– Ты дурака валяешь?

– Нет, нет, я вспомнил: как это он сказал нам, что ежели вышло «а», то сейчас у нас будет «б», я задумался, и как только я крепко задумался, то, может быть, и заснул, и тут во сне мои пальцы разжались, а земля проскочила между пальцами.

Кругом все засмеялись, и Уланова тоже не могла удержаться от улыбки.

– Что ты можешь? – спросила Уланова.

– Способен на всякую вещь, и в особенности на дела отчаянные.

«В подрывные бригады», – заметила себе Уланова.

– А вы кто, дедушка? – спросила Уланова.

Вышел Куприяныч, лесной бродяга, до того заросший по лицу волосами, что один только носик виднелся, как у перепелки. А глазки из-под этих перышков глядели устойчиво и ясно. До того устойчивы были глаза у Куприяныча, что делалось, будто их нет и нет ничего, а это виднеется сзади сквозь его щелки выкрашенная синькой стена.

– Милок! – сказал он Улановой, принимая ее за юношу. – Ты не записывай меня, я бродяга лесной и все равно убегу.

– Ну да, убежишь! – поддразнила Уланова.

– Милок, не смейся – улыбнулся ей Куприяныч.

И от улыбки с раздутыми щеками в волосах стал очень похож на ежа, и носик его из-под иголок торчал совсем как у ежа.

– Какие люди бывают! – вслух удивленно сказала Уланова.

– Всякие, милочка, бывают, – ответил спокойно Куприяныч. – А я тебе просто скажу, вьюнош: буду работать и всякую работу могу, особенно лесную. Буду хорошо работать, ежели мне будет самому хорошо. А когда не захочется, все равно убегу. Только одного прошу у тебя, молодой человек, и давай с тобой сговоримся: буду работать и тебе самому услужу и удружу, только не записывай ты меня в книгу. Не будешь?

– Конечно, не буду, – ответила Уланова.

Проходили какие-то духовные лица с длинными волосами, и разноглазая монашка, и другая, красноглазая, вечно мигающая и какая-то страшная девка Анютка Вырви Глаз, какой-то китаец в косе; какой-то старый каторжник заявил, не мигнув глазом, что он на арбузной корке с Сахалина по Тихому океану вокруг света приплыл.

Их были тысячи разных людей, разных народностей, и каждый, на мгновение мелькнув, выпадал из памяти, как будто его вовсе и не было, и в то же время, мелькнув, закрывал надежду на появление какого-нибудь смысла в этом потоке людском.

И на улице так постоянно бывает со всеми нами, пока особенное лицо не покажется и не осветит человека.

Вышел пожилой, но крепкий живой человек с лицом смуглым, иссеченным морщинами, как ударами сабли.

– Волков я, – сказал он, – бывший торговец кожевенными товарами.

И охотно рассказал, что у него было несколько миллионов в банке, два каменных дома в Москве и два земельных владения под Саратовом и что он, обороняя свое имущество, поставил

на крыше своего дома пулемет и в последний миг успел скрыться, но после через несколько лет его нашли. А теперь он переменял свои убеждения.

– Я не богатство свое защищал, а вечность. Я тогда думал, что все на свете меняется, все мишура, а в рубле заключена вечность.

– В рубле вечность? – удивилась Уланова.

– А как же, мы все купцы про себя в уме это держали. Русские купцы, конечно. Как из мужиков вышли, так в простоте и держали.

– В рубле вечность! – повторила удивленно Уланова.

– На этом вся моя жизнь прошла. А теперь, – продолжал Волков, – я круто переменял убеждения и понимаю: в рубле вечности нет.

Уланова положила перо.

– А разве, – спросила она, – есть на земле что-нибудь вечное?

– А как же? – ответил Волков. – Есть вечная мысль.

– Мысли тоже постоянно меняются.

– Мысли меняются, но одна мысль у человека всегда остается.

– Какая же это мысль?

– А такая мысль, чтобы на каждом месте и во всякое время как бы нам лучше.

Уланова как будто дожидалась чего-то долго, искала и вдруг нашла и вспыхнула, и глаза ее загорелись.

Звук с восторгом глядел на нее, узнавая в ней прежнюю свою Марью Моревну.

– Если мысль эта, – сказала она, – на каждом месте, то, значит, и сейчас тут у нас в заключении, и тут тоже, как бы нам лучше?

– Ни минуты нет времени, ни вершка на земле, – ответил Волков, где бы не было этой мысли: делай лучше другим, и через это себе.

– Так это служба, – сказала Уланова с большими блестящими глазами. – Понимаю вас.

И вопреки запрету начальника называть заключенных товарищами, пожала Волкову руку и сказала:

– Понимаю, товарищ.

Так было теперь, будто сквозь хаос и гул людского падуна Уланова услышала мерный шаг человека, идущего все вперед и вперед.

## XI. Имеющий власть

Раньше у нас на Севере лесные пространства медленно заполнялись *своими* людьми.

Так бывало в селе, что кто-нибудь в какой-нибудь большой семье уйдет на сторону куда-нибудь в лес подальше, построит себе дом, и этот свой человек сделает на новом месте починок. А когда и тут станет тесно, опять кто-то отделится и сделает новый починок, и все будут знать, что в таком-то урочище, в таком-то починке живет свой человек. Так заселялась земля на Севере своими людьми. И острова на Выгозере тоже заселялись починками, своими людьми, и все еще даже на Выгозере множество островов оставалось незаселенными, и так множество лет проходило, и все еще Север оставался почти пустым.

Но теперь пришел чужой человек, с новой мыслью, разрушающей старое медленное время расселения людей только своими людьми.

Мысль эта была в том, чтобы не своим только родом идти вперед по земле и не для себя самого строить починок, а для всего народа своего и всего соединенного великого человека.

Теперь в этой службе всему народу стали соединяться не свои люди близкие, а и всякие, и этот соединенный человек с огромной быстротой стал переделывать край.

Сказал имеющий власть:

– Всех бросить в лес!

И не прошло даже месяца после приказа, как вот уже на месте тайги стоят готовые просторные бараки, и улицы складываются, как в городе, и собака бежит с костью по улице, за ней вороны летят, и повар, весь в белом, высунулся из жаркой кухни дохнуть свежим воздухом, и треплется красный флажок на ветру, и радио из невидимого рта своего бросает слова, уговаривает, приказывает, и орет, и поет.

По-прежнему еще далеко слышится непрерывный гул водопада, и все больше и больше становится похожа эта падающая вода на павшего дробного человека. Разбивается вода, разбивается когда-то цельный, натуральный человек на отдельных людей. Собирается в реку падающая вода, и с большим трудом приходит в себя, в свое единство вдребезги разбитый единый человек и берет на себя власть над природой.

## ХII. Рабочий день

Управление строительством узла по-прежнему оставалось в Надвоицах, но работы по заготовке лесных материалов велись на той стороне Выга. И туда, на ту сторону, и оттуда сюда, в Надвоицы, с утра до ночи ходили паром и карбасы, а кроме того, воздушным путем по тросам перебегала грузовая тележка.

Однажды вечером, поздно возвращаясь с той стороны, Зук заметил: тележка, вероятно, для ремонта, была снята, ролики оставались на тросах. Хорошо подумав об этом, Зук пришел в контору и улегся на лавочку на своем месте в передней. В этот раз он не мог заснуть сразу, ему мешали разные впечатления, проплывающие, как кораблики по теплему морю. Так в прежнем своем виде, как прекрасная Марья Моревна, проплыла Уланова, и могучий начальник Сутулов, и черный карбас с черепами бабушки, и бородатый дедушка, и какие-то китайцы желтые с черными косами, и вслед за китайскими косами белые лошадиные хвосты. И среди них он ищет единственный, опасный для счастья Сутулова.

Одну бы минуточку задержать проплывающие хвосты, но ничего самому задержать невозможно, и загадочный хвост вместе со всеми куда-то ушел. Но тут как раз и пришло то любезное место на живой воде, из-за чего и проплывали все эти кораблики: это была грузовая тележка, пробегающая по тросам за Выг.

Оказалось, при переправе через Выг он заметил эти ролики, и ему на другой день захотелось прицепиться к ним и перенестись через Выг на вытянутых руках, как в тележке.

Всю ночь он переносился по воздуху на роликах с одного берега на другой или, может быть, так пригрезилось в одно мгновение перед тем, как пробудиться, что всю ночь он катался.

Но проснулся он рано, как это ему и надо было, до начала работ, когда, бывает, и сами сторожа еще спят крепким утренним сном. И как только открыл глаза, прямо же ухватился за эту мысль, как за ролики: ему надо бежать туда поскорее, пока не проснулись.

Неслышно он выкрался из управления, оглянулся – не смотрит ли кто – и пустился бежать туда, где ходила тележка. Неподалеку от роликов на штабелях леса шкуреного, склонив голову, дремал ночной сторож. Ролики были закинута так, чтобы не могли сами укатиться на ту сторону. Зук умело выправил их, попробовал, примерился, схватился, разбежался...

– Держи, держи! – закричал сторож.

Но Зук в это время со всего разбега скакнул, поджал ноги и полетел.

– Держи, держи! – кричал сторож.

И на другой стороне, кому сторож кричал, услышал.

Плохо бы кончилось это путешествие Зуйка по воздуху на роликах через Выг, если бы на помощь ему не пришел старый, заросший волосами Куприяныч. Случилось так, что в эту ночь старику не спалось и он рано своим бродяжым способом неслышно выполз из палатки с чайником в руке и развел теплинку на берегу Выга.

Тихо было в воздухе, тонкой синей струйкой дымок потянулся вверх. Бродяга, умыв лицо, не вытер его и, весь в росе, делая рожи кому-то, подобные нашей улыбке, со своим бормотанием стал поджаривать корочку черного хлеба. Невидимые струйки в дыму дрожали, обнимаясь теплом, и от этого сквозь них казалось, весь мир там дрожит, колыхается, и дружно все сходится в блаженстве бродяги за утренним чаем. Но вдруг, как это редко бывает у людей, но все-таки и бывает, кончики ушей Куприяныча дрогнули и повелись, как у собаки, на ту сторону за Выг.

– Держи, держи! – кричал сторож.

Куприяныч поднял глаза на шум роликов.

По воздуху неся мальчик, сжимая посинелыми от напряжения руками толстый витой стальной трос.

– Держи, держи! – кричал сторож.

– Держу! – ответил Куприяныч сторожу.

Куприяныч вскочил, выждал с расчетом, напустил и, вдруг прыгнув высоко, как заяц, схватил в воздухе мальчика и повалился с ним вместе на мягкий мох рядом с костром.

Бродяга все на свете видал. И теперь, поймав мальчика, вернулся к чаю с таким видом, как будто он каждый день таких ловит и это его самое привычное дело.

А Зук сидел рядом смущенный и как бы с толку сбитый: видно, путешествие на роликах ему было не так приятно, как оно казалось во сне. И особенно неприятно было, что его, курьера начальника, имеющего власть над всем узлом, поймал какой-то старик со звериным лицом.

Он сидел дикарем и молчал.

– Откуда ты взялся, пацан? – спросил Куприяныч.

– Какой тебе я пацан? – ответил Зук.

– Кто же ты?

– Я курьер начальника узла.

Куприяныч немного откинулся назад, поглядел на мальчика без шутки и с таким видом, как будто в первый раз в жизни видит курьера и теперь ему надо что-то еще понять и вести себя, как подобает вести с курьером.

– Чего же ты так рано прилетел? – спросил Куприяныч.

– А тебя не спросил, – ответил Зук. – Вот вздумал с тобой чаю напиток и прилетел.

– Дело! – сказал Куприяныч. – Пить так пить. Я люблю с утра брюхо попарить. Выпьешь горяченького – душка-то и повеселеет.

– Какая это душка у тебя?

– А птичка есть такая у каждого человека.

– Птичка?

– Ну да, птичка. Слышу рано: «пик-пик!»

– И что?

– Ничего... «пик-пик!», а я понимаю, это Пикалка зовет меня: «Ты бы, – пищит, – Куприяныч, чайку заварил, брюхо попарил». – «Матушка, – отвечаю, – рад бы, вот как рад бы был чайку заварить, да где же я себе чай достану?» Тихонечко нащупал свой чайник, выполз на волю, оглянулся, нет ли кого? Нарвал с кочки брусничного листу, корочку хлеба поджарил, заварил. На-ка, хлебни нашего чаю, пацан!

– А птичка улетела? – спросил Зук.

– Какое тебе улетела! Эта птичка, милоч, всегда со мной. Я брюхо парю, а птичка веселит, поет и поет.

В это время по железной бочке ударили, а после того заревело радио:

– Вставайте, вставайте!

– Ну, милоч, – сказал Куприяныч, – надо на поверку идти, прощай, друг!

– Погоди, – попросил Зук, – скажи мне, куда ты теперь?

– А к своим, вон они выходят: это олонецкие. А вон рядом со знаменами выстраиваются – это орловские, там вон рязанские, там, гляди, татары лезут казанские, китайцы, корейцы. Я всю землю нашу обошел и лучше не нашел земли, где сам родился. Наши олонецкие сплавщики, по лесу лучше их нет. Пойду им помогать лес шкурить.

– А птичка?

– Со мной полетит.

– И птичка с тобой тоже шкурит?

– Нет, птичка моя не шкурит, а поет и меня утешает. Вот я и не злобствую и спокойно ожидаюсь своего срока.

– Какого это срока?

– Своего сроку ожидаюсь, какой есть у каждого человека. Придет мой срок, – и я опять в лес.

– И там хорошо тебе будет?

– Но-о!

– И птичка с тобой полетит?

– Там птиц много всяких, там им нечего нас утешать: там мы цари.

– И можно там приказывать птицам?

– Можно.

– И что им можно приказывать?

– Все, что только захочется.

– И все нас слушают?

– Но-о!

– И не работают?

– Милок, я же русским языком сказал: мы там цари.

Куприяныч остатки брусничного и хлебного чая вылил на огонь, затоптал и неторопливо пошел.

А к берегу на карбасе подплыл Сутулов и начал подниматься вверх с камня на камень на то свое место, откуда ему была видна вся работа в лесу. Зук подбежал к нему и тоже медленно стал подниматься за ним выше и выше с камня на камень, пока наконец Сутулов не остановился и не воткнул свою палочку в торф, обнимающий карельские скалы, как шубой.

Внизу выстраивались со знаменами, шли шеренги на места, брались за топоры, за пилы, а прорабы каждому указывали его назначение.

– Ты, Иван Дешевый, – говорил один прораб, – иди вон туда, к Лисьим норам; ты, Рудольф, с урками в Камень; ты, старик Волков, веди свою бригаду на Бараний Лоб.

И так потом дальше от бригадиров каждый узнавал свое место. Они обращались к каждому отдельно, а музыка гремела для всех.

И так начался и загремел рабочий день надвоицкого узла Беломорско-Балтийского канала.

### **XIII. Завал**

Случилось, много тяжелых высоких деревьев, подрубленных и подпиленных неумелыми степными людьми, непривычными совсем к лесному делу, падая, оперлись на нетронутые пилою деревья и остались висеть в воздухе. Степняки, не понимая лесных работ, рубили, пилили, не обращая на завал никакого внимания. И так, наконец, один из них принялся рубить то самое дерево, на котором держался весь завал. И, подруби он опорное дерево, весь завал бы рухнул и подавил много людей.

Но один совсем простой лесоруб догадался...

Зуек это заметил себе твердо, что лесоруб именно догадался и своей догадкой спас жизнь более ста человек. «Не от этого ли, – подумал он, – и начинаются хорошие начальники, наверно, надо о чем-нибудь хорошем догадаться и спасти человека».

И так оно вышло именно, как Зуек представил себе: Сутулов позвал к себе лесоруба, поговорил с ним, и простой лесоруб с тех пор сделался прорабом. Больше лесоруб теперь не работает весь день топором, а стоит на своем участке, как маленький Сутулов, и даже с малиновыми петличками на шинели: назначает, указывает, приказывает.

Из всего этого случая Зуек сделал вывод для себя: ему бы тоже надо о чем-то таком догадаться, спасти хоть одного бы человека и после того не бегать курьером, не передавать приказания, а самому сделаться начальником.

Не будем скрывать и затаенной мысли Зуйка.

«Наверно, – подумал он, – мне тогда тоже малиновые петлички дадут. А может быть, даже и пистолет. Эх, вот бы догадаться и хоть бы одного человека спасти».

Сам он видел, как было просто лесорубу спасти сто человек. А поди-ка сам спаси, догадайся.

Смотрел на работу Зуек внимательно, долго, голова кружилась от напряжения, а догадаться не мог. И вот в это утро Куприяныч открыл ему, что вовсе и не надо трудиться, догадываться, спасать людей, гоняться за властью, можно просто уйти в лес, где нет никакого строительства и где все цари.

Тоже он думал и о душе какой-то, похожей на птичку, и смотрел внимательно на Сутулова, стараясь догадаться, есть ли душа тоже и у него и какая у него душа: тоже вроде птички или какая-нибудь своя, особенная.

Сутулов как воткнул в это утро свою палочку в торф, так стоял неподвижный и наблюдал сверху кипучую работу внизу. Никакого внимания он не обращал на своего курьера, и было это понятно: Сутулов был весь целиком в своем деле, а Зуек, если правду о нем говорить, занимался про себя только сказками, выжидая удобный момент, когда можно будет спросить, есть ли душа у начальников.

Вдруг Сутулов отвел свои глаза, поднял их вверх к небу.

Момент был подходящий. Зуек уже открыл было рот, чтобы спросить о душе, но Сутулов первый сказал:

– Не простоит этот день, наверно, будет непогода.

– Как это вы знаете? – удивился Зуек.

– А вон, погляди на небо: везде кошачьи хвосты.

Правда, небо было покрыто облаками, похожими на громадные белые лохматые хвосты.

Услыхав, что на небе хвосты, Зуек вспомнил про те, что удерживают Уланову, и он стал раздумывать и догадываться, не тут ли, не в этих ли небесных хвостах все это дело? Но как понять, что эти небесные хвосты виноваты, об этом он никак не мог догадаться.

Прошло немного времени, кошачьи хвосты исчезли, но со всех сторон стали надвигаться темные тучи. Зуек этим воспользовался, чтобы заговорить.

– Как правильно вы сказали, – обратился он к Сутулову. – Хвосты на небе пропали, и скоро будет дождь: хвосты были перед дождем.

Сутулов охотно ответил:

– Ты приметливый мальчик: вот увидишь, не dokonчим нынче работу. Дождь сильный пойдет.

Зуек опять воспользовался вниманием начальника и решил, что теперь ему можно спросить и о всем. И подумав, о чем раньше спросить, о том ли, почему хвосты удерживают товарища Уланову, или о душе, решил спросить о тайне.

– Можно спросить? – сказал он.

– Ну, спроси, – ответил Сутулов.

– Скажите мне, есть у вас душа?

Сутулов как раз в это время заметил какой-то беспорядок на лесных работах внизу, и душа туда улетела.

– Душа, говоришь? – рассеянно ответил он Зуйку.

– Душа, говорю, вроде птички...

– Птички, говоришь?

– Птички, говорю, Пикалки.

– Ну и что?

– Когда птичка поет, Куприяныч работает, а когда перестает – садится пить чай, он с ней советуется. И он мне говорит: эта птичка – душа. А я спрашиваю: у вас тоже душа вроде птички?

– Стой! – останавливает его Сутулов. – Какая тебе тут птичка, какая душа! Беги вон туда, стрелой лети, отнеси бригадиру приказ!

Сутулов наскоро написал на бумажке что-то карандашом.

Передав приказ, Зук спешит вернуться назад к начальнику, послушать его ответ о душе. Но Сутулов и не смотрит на него. Много времени проходит, пока он останавливает свое внимание на маленьком своем и препотешном курьере.

– Ты ведь, кажется, хотел меня о чем-то спросить?

– Очень даже, – ответил Зук, – хочу спросить, есть ли у вас душа?

– Вот что выдумал, – засмеялся Сутулов. – Конечно, есть, у каждого человека есть душа. Только скажи, кто это тебе об этом сказал.

– Куприяныч сказал. У него душа, говорит, вроде птички. Она поет ему, и он под песенку работает. А что у вас, у начальников, душа тоже вроде птички? И она вам тоже поет?

– Куприяныч бродяга, – ответил Сутулов, – по лесам шатается, у него есть время о птичках думать. Какая тут птичка. Моя душа вся в заботах, вся во внимании: на что смотрю, там и душа моя. Вот вижу сейчас, урки проклятые там подрались, и как бы у них тоже не вышел завал. Смотрю туда – и душа моя там тоже работает.

– Понимаю, – ответил Зук, – вы стоите, а душа ваша работает.

– Вот правильно, – говорит Сутулов, – только вижу вон опять завал все растет и растет.

– Душа Куприяныча – птичка, – продолжает Зук.

– Птичка, говоришь?

– Птичка. Он работает, а птичка ему поет.

– Поет?

– Поет, говорю. А у вас наоборот, она работает, зато вы сами стоите.

– Сам я стою, – сказал, приходя в себя, Сутулов, – это верно. Душа моя работает, а я за правду стою и тебе тоже советую, не гоняйся за птичками: душа в правде. Только понимаешь ли ты, пацан, что-нибудь?

И только было собрался Зук ответить в том смысле, что ему лучше хотелось бы за птичками бегать, чем за правдой стоять, как вдруг случилась там внизу какая-то новая беда, и душа Сутулова вся туда улетела. А когда вернулась, Зук опять должен был лететь.

Тяжелый завал опять навис над степными людьми. Зук бежал к Куприянычу. Старик получил приказание бросить шкурить и помочь татарам разобрать свой завал.

«Ну вот, – радостно думал про себя Зук. – Пришел и мой черед догадаться, да и Куприяныч поможет: сейчас мы непременно с ним спасем всех, и я сам своими руками хоть одного да спасу человека».

И он себе ясно представил, будто сам он теперь там вместе с Сутуловым по-прежнему за правду стоит, а душа его теперь летит спасать человека.

Коротенькие люди с широкими квадратными спинами, в маленьких цветных шапочках валили деревья, не обращая никакого внимания, какое куда упадет. Им указывали, учили, и

они несколько времени правильно делали, стараясь понять, в какую сторону должно пойти то или другое дерево. Но проходило какое-то малое время, степная природа брала верх над лесной наукой, деревья опять падали, куда как попало... Небывало тяжелый завал навис, а они все работали. Оставалось срубить одно дерево – и завал бы рассыпался, но тут прибежал Зук с Куприянычем.

– Аман! – спокойно сказал Куприяныч.

И после того, вдруг сделал ужасно пугающую рожу и руками так, будто он всех их гонит, закричал:

– Айда, айда, айда!

Все татары, поняв что-то страшное, бросились вон из-под завала.

– Айда, айда! – продолжал кричать бродяга, пока близко не осталось ни одного степняка.

Пришло время Зуйку догадаться, но пока он собирался с мыслями, Куприяныч подрубил какое-то дерево, привязал к нему длинную веревку, махнул рукой коротеньким людям, и только-только Зук догадался, как ему надо спасти этих людей, они потянули за веревку, дерево рухнуло, и за ним рухнул завал.

Опять не догадался Зук, но так он обрадовался скорой работе Куприяныча, что в этой работе забыл сразу свое огорчение.

– Молодец, Куприяныч, – воскликнул он. – Сейчас побегу к начальнику, доложу ему, и тебя, наверно, назначат прорабом.

Куприяныч смеялся.

– Ты будешь стоять, – продолжал Зук, – ничего не будешь больше делать и только приказывать.

Куприяныч смеялся.

– И все тебя будут слушаться. И ты их будешь спасать.

Куприяныч перестал смеяться.

– Айда! – сказал он татарам.

Коротенькие люди взялись за топоры и за пилы, Куприяныч прошелся между ними, кому рукой указал, кого ногой пихнул, кого за ухо взял и сам головой помахал и языком или «ни-ни!», или «так-так!», и всего в несколько минут все дружно так заработали, занимались лесными работами всю жизнь.

– Вот видишь, – сказал Куприяныч Зуйку, – зачем это ты меня хочешь ставить прорабом. Меня же и так все слушаются.

Зук стоял смущенный, казалось, все так ясно и просто, а вот оказалось теперь совершенно непонятным: без всяких петличек и пистолета все слушаются, и так можно сколько угодно спасать.

– И ты можешь людей спасать? – спросил он.

– Вот еще, – засмеялся Куприяныч, – спасать! Видел ты, как я их разогнал? Спасать! Ты только сам на место и стань, на правильное место, а люди сами спасутся. Каждому жизнь дорога. Зачем их спасать?

– Тебе, – сказал Зук серьезно, – наверно, это все птичка указывает?

– Вот это так, – сказал Куприяныч, – это ты догадался. Я слушаю птичку свою и ни о каких петличках не думаю. Но погоди, я тебя устрою. Ты будешь тоже стоять в петличках и приказывать. Хочешь?

Зук покраснел.

– Хочешь? – повторил Куприяныч.

Зук еще сильнее покраснел и чуть слышно что-то ответил:

– Ага...

Куприяныч засмеялся, все лицо его в щетинах сделалось круглым, как у ежика, глаза узеньки, как у кота на свету, и так близко он наклонился, что Зук вздрогнул, и почему-то ему

стало даже и страшно немного. Он отклонился с внезапным отвращением, но Куприяныч еще ближе подошел, прижал его к дереву и шептал:

– Сделаю, сделаю...

– Как же ты сделаешь? – спросил смущенно Зук.

А Куприяныч уже и прямо щетиной своей коснулся лица так близко, что видны были уже блошки и вошки. Отвратительно стало Зуку, но Куприяныч ответил:

– Сейчас пойду доложу начальнику, как все было, и ты не отказывайся. Ты спас людей. У тебя будут петлички и пистолет.

## XIV. Утри нос!

Когда василек глядит изо ржи, нам кажется, будто все поле этим васильком, как глазом, смотрит на нас.

И когда деловой человек, охваченный творчеством великого строительства, увидел глаза другого трудящегося человека, то ему кажется, будто этими глазами глядит на него все море строительства. И фраза тогда «на глазок» бывает видна – к чему этот человек, на что он годится, куда его деть.

Так Сутулов всегда все брал «на глазок», и в людях, пригодных к делу или плохих, никогда не ошибался. А дело всей тяжестью было на его плечах, и если бы ему встретился василек, то он бы и думал о ржи, но не стал бы, конечно, думать, как будет выглядеть василек, если его поставить отдельно в стакан с водой.

И Зук тоже занимал его, пока он синим цветком глядел на него из этого поля людей, подлежащих распределению в строительстве каждого по способностям. И Куприяныч, лесной бродяга, был ему хорош и нужен, как отличный работник по лесу.

Но теперь, когда Куприяныч врал ему сказку о герое-мальчике, спасающем степняков от завала, Сутулов потерял свою обычную ясную видимость души трудового человека. Ему непонятно было, для чего врет лесной бродяга, беглый разбойник, способный за обладание каким-нибудь ножом голыми руками задушить такого же бродягу, как сам. Сутулов довольно насмотрелся на людей и мог сразу разгадывать их мысли и помыслы. Но тут даже под его пристальным взглядом душа Куприяныча за его гляделками показывалась как голубая стена, чистая, ровная, без всяких царапин. Вот это одно и смущало его: для чего надо было бродяге завлекать в свои пути еще несмышленого мальчика.

И небо хмурилось. И Сутулов хмурился. А если бы небо ясно было, может быть, и Сутулов, увидав василек, улыбнулся ему, взял с собой и в стакане с водой дома понял бы его.

Зук по лицу Сутулова сразу догадался: дело его провалилось. Но тут же он решил не сдаваться и приготовился к большой борьбе за себя. Ему казалось, что ничего плохого он не затевал: он хотел сделаться начальником, таким же, как чудесный и единственный, в его понимании, начальник Сутулов, – что же в этом плохого? И если ему хотелось тоже получить петлички, пистолет и для этого пришлось немножко соврать, то какая же в этом беда? Ведь он хотел достигнуть хорошего.

И оттого он решил бороться за свое до конца.

Это бывает с мальчишками, и тогда лучше бы начальнику отвести глаза в сторону и после какой-нибудь шуткой на досуге высмеять виновника и пристыдить. Но когда тут было строительство канала носиться с каким-то мальчишкой, пленившем его своей правдивостью и прямоотой.

Зук весь горел, и кончики ушей его почти что светились огнем. И глаза уставились вниз на камень с отчаянной готовностью стоять до конца на своем.

Небо хмурилось, тучи начали встречаться, сверкнула первая молния, загремел первый гром этой грозы. Но куда сильнее, куда страшнее этого грома был гром из уст человеческих:

– Отвечай мне, это ты разобрал там завал и спас сто человек?

Зуек весь горел и не спускал с того же самого камня своего пристального взгляда.

– Отвечай мне, это ты?

Тут надо бы заплакать Зуйку, попросить прощения, обещаться. Но так делают многие, много обещаются, и много раз потом опять врут, и опять раскаиваются, и опять, изнашивая душу, повторяют свое, пока не приспособятся жить между ложью и правдой. Зуйку же пришлось это в первый раз, и, может быть, это было единственный раз на всю жизнь.

– Отвечай же...

Зуек даже и не догадывался, что возможна борьба маленького с великаном с помощью лжи и слез.

Вот еще сверкнула молния: Сутулов знал же по каким-то хвостам, что будет гроза, как же он теперь не знает, что делается в душе Зуйка? А если знает, то, значит, надо прямо бороться и не уступать своего.

– Последний раз тебя спрашиваю: ты это сделал или Куприяныч?

– Я! – ответил Зуек.

И с камня перевел прежде свои такие ясные голубые глаза, теперь затемненные и злые, позеленевшие, как у кошки, на Сутулова.

– Вот какой ты змеюга! – сгоряча сказал Сутулов. – Уходи вон от меня. И на глаза мне больше не показывайся.

Был опять гром с неба, и у Зуйка в душе это слилось, и страшный голос прекрасного и почти обожаемого им человека, и этот гром, отвергающий его навсегда от участия в простой радости обыкновенных хороших людей.

С камушка на камушек он спускался вниз, сам не зная, куда ему идти, и так дошел до большого камня, обнятого корнями северной сосны. Он сел на камень, обнял сосну, приложил к ней щеку, заревел, вздрагивая и все больше и больше уходя головой в худенькие плечи.

– Ты чего тут реवेशь, пацан? – раздался голос из-за дерева.

Вышел кто-то, не похожий на каналоармейца, высокий, в женском малиновом берете на голове, глаза небольшие, голубые, загадочные. На плечах неизвестного была накинута куртка, голое тело все было расписано голубыми знаками, на левой груди против сердца красовалось лицо женщины с подписью: Маруся. На другой – два голубя кормили друг друга.

Рассмотрев все это сквозь слезы, Зуек пришел в себя и спросил:

– Ты – Рудольф?

– Утри нос, – ответил серьезно и без всякой усмешки человек в малиновом берете.

И как только Зуек, поверив словам, честно схватился за нос, из-за деревьев с хохотом выскочили разные люди, почти все с теми же знаками татуировки.

Щеки у них, как и у всех людей, надувались от смеха, но глаза оставались такими же холодными и злыми, как и до смеха.

– Черти какие-то! – сказал Зуек, переводя свои большие, удивленные глаза с одного лица на другое.

И как только он, ничуть не струсив, произнес это «черти», все люди поглядели на него иначе и почти что даже и с уважением. Тогда Зуек догадался: перед ним была знаменитая бригада двадцать первая, во главе с их прославленным паханом Рудольфом.

– Ты спрашиваешь, кто я, – сказал пахан, – ну, хорошо, я – Рудольф.

Тогда Зуек, чтобы не ударить в грязь лицом, ответил, представляясь:

– А я курьер начальника. У вас тут завал, поднимается ветер, вас может всех задавить.

– Нашли какую заботу – думать о нас!

– А как же, – ответил серьезно Зуек. – Мы для того и стоим наверху и не работаем сами руками, чтобы думать только о вас, мы вас спасаем.

Тогда Зук заметил, что пахан на его слова не удостоил даже и улыбнуться, а только глаза его чуть-чуть повеселели, и этого было довольно. Все урки дружно захохотали.

– Ты легкобычный пацан! – довольно весело сказал Рудольф. – Ничего, спасайте. – Потом протянул свою руку, погладил его по голове, покачал своей головой и сказал: – Эх, пацан, пацан, какой хороший ты парень, зачем ты ссучился с легавыми?

Задушевный голос Рудольфа проник в самое сердце Зуйка, слезы хлынули из глаз его, и вдруг с необычайной силой, заскрипев даже зубами, он унял их, утерся рукавом и сказал:

– Нет, я не ссучился! Я хотел вправду людей спасти, а они меня выгнали...

– Выгнали! – крикнул Рудольф радостно. – Ну, поздравляю тебя! – И, сделав мефистофельский жест, взял его маленькую ручку, пожал и потряс ее: – Теперь ты, брат, наш. Теперь ты с нами. Теперь у тебя много верных друзей. И с нами ты не пропадешь.

Тут хлынул дождь, колонна за колонной пошли каналоармейцы в бараки.

– Приходи! – крикнул Рудольф на ходу.

## XV. Сказка о вечном рубле

Засверкала молния, гром загредел, и карельские лесистые холмы, озы и бараньи лбы на далекое расстояние заговорили друг с другом. Бежать домой на ту сторону было далеко, а бараки совсем были рядом. Зук бросился догонять колонну урок и скоро был вместе с ними среди бараков.

Рудольф издали махнул ему рукой идти в барак, откуда далеко разносился запах щей и горячего хлеба, а сам с бригадой исчез в дверях другого барака, и опять показался и ткнул левой рукой пальцем себе в грудь, а правой на душистый барак. Зук понял, что Рудольф тоже придет туда и там, конечно, столовая.

Тут было все как на пожаре: там катили огромную бочку и устанавливали под капель, там на себе четверо загоняли в сарай телегу с грузом; какие-то неустанно перебегали из барака в барак, и масса людей валом валила в столовую. Никто, кроме Зуйка, не обратил внимания, что голос по радио объявил выступление артистки Михайловой. И наконец так много скопилось людей у входа в столовую, что среди больших людей в тесноте Зуйку все закрылось и только слышалось, как Михайлова пела «Не искушай».

Чей-то тяжелый сапог приплюснул ногу Зуйка, и он закричал от боли во все горло. Тогда другой старый человек с добрым лицом, как бы изрубленным, наклонился к нему и взял его за руку.

– Ты, мальчик, – сказал он, – наверно, к нам забежал от дождя?

И Зук узнал его по голосу. Это был тот самый старик Волков, говоривший Улановой непонятные слова о каком-то вечном рубле и каких-то особенных мыслях, отчего Уланова тогда просияла и стала похожа на прекрасную Марию Моревну.

– Мне, – ответил ему Зук, – Рудольф указал идти дожидаться его в столовой.

– Рудольф? – повторил, припоминая, старик. – Что-то не помню, да на что тебе он? Пойдем со мной, я найду тебе чашку и ложку. Вот садись здесь, а я сейчас все принесу.

Зук сел на длинную белую струганую лавку за длинным во весь барак столом. По ту сторону узкого стола тоже люди сидели. Везде от щей пар поднимался.

Не обошлось без того, что какой-то, проходя, потянул его больно сзади за пискун-волос и хотел было вытащить из-за стола. И заставивший крутиться, не выпуская из пальцев пучка волос. Кто-то приподнял за уши, хотел «Москву показать», и один даже пытался выкинуть его вон из барака. Но добрый человек пришел наконец, поставил на стол миску со щами, хлеб положил, ложку дал.

От горячего Зуйку стало тепло на душе. Но главное было не в еде, а что он плотно сидит рядом со всеми на равном положении, и эти большие люди, как товарищи, признают его рав-

ным и не обращают на него никакого внимания. В большом улье пчел он стал тоже пчелой, нашел свое место, и стало ему на душе хорошо.

– Хлебай, хлебай, пацан, – говорил ему сверху добрый человек с седеющей бородкой на морщинистом коричневом цвете лице.

– Спасибо, добрый человек!

– Не стоит благодарности, – ответил ему старик.

Важно посидев некоторое время в молчании, как сидят за столом у дедушки гости, Зук наконец решился спросить, как в гостях, помнил он, спрашивают друг у друга незнакомые люди:

– Ты, добрый человек, откулешний?

И добрый человек не замедлил приличным ответом:

– Я из Талдома родом.

Зук не знал, где этот Талдом и что это значит, да не в том было дело: нужно было только спросить по всем правилам, как это делают настоящие люди.

– А ты здешний? – спросил добрый человек.

– Ага!

– Живешь у родителей?

– У дедушки.

– Дождь хлыщет, тебе придется с нами побыть, а может быть, и переночевать. Пойдем со мной.

Многие встали из-за стола и перешли толпой в другой барак, где у каждого было на дощатых нарах свое место, свои соседи, свои вещи.

И Рудольф, и Куприяныч, и еще какие-то урки, бывшие в лесу вместе с Рудольфом, заметив Зуйку, присели рядом с добрым человеком.

Зук хорошо понял про себя, как это всегда понимают мальчишки: Рудольфу он чем-то понравился, раз ему захотелось рядом присесть. Ну а уж понравился, то надо отличиться в этом обществе, еще больше понравиться. Что-то загорелось, закипело в душе: если уж не там, так здесь.

– Легкобычный пацан, – снисходительно сказал Рудольф доброму человеку.

– С ним не шутите, – ответил Куприяныч.

Как сухой листик шевелится от сквозного ветерка и как живой мышкой бежит, так от общего внимания побежала душка Зуйка, и он понял, что пришла та самая минута, когда надо ему отличиться и нельзя ее пропустить. Большое дружеское чувство благодарности за что-то ко всем этим людям охватило его, и вдруг он спросил:

– Скажи, добрый человек, за какие такие дела люди сюда попадают?

– За хорошие! – немедленно ответил чей-то хриплый, надтреснутый голос.

Зук увидел: в проходе стоял худой человек с тонкой длинной седой бородкой, похожий на козла и на Кашея Бессмертного.

Никак нельзя было понять, в шутку говорил Кашей или смеялся над мальчиком. Лицо у Кашея было все ровно розовое, длинное, глаза маленькие, зеленые. Такой был у нас на памяти человек, вытянутый в одну струнку в себя и наверх, как паук: сейчас тут куснул – и нет его, вверх по своей паутинке и там с богом беседует. Это Кашей есть такой, и Зук сразу понял: это Кашей.

– За хорошие, за хорошие, – повторил Кашей уже в явном сочувствии невинному ребенку, попавшему в ад.

Так пришла в бараке редкая минута в заключении, когда не один кто-нибудь вспомнит себя на воле, а все вдруг вместе. Глядя на этого смелого свободного мальчика, каждый вспомнил себя: ведь и он был когда-то таким, и как хорошо тогда было, и как это скоро прошло! И кто в том виноват? Никто не догадывался даже, что и этот мальчик стоит теперь тоже у края...

Каждый думал о себе по-своему, но все были вместе, и каждому очень хотелось бы рассказать на людях все о себе и так определиться между людьми, как определяются люди на море и узнают, куда, к какому берегу плывет его лодочка.

Мало-помалу старший из всех, добрый человек, глядя на Зуйка так, будто сквозь него он видит себя в далеком своем прошлом, стал рассказывать свою жизнь. И Зук по своему обыкновению из этого правдивого рассказа бывшего торговца кожевенными товарами Волкова стал делать свою сказку о Кашее Бессмертном и вечном рубле.

Началась эта сказка с того, что отец Волкова, сапожник в Талдоме, делал гусарики, детские башмачки, а его мальчик, вот этот самый наш Волков, теперь старый добрый человек, стоял над лучиной, поправлял светец и между лучинами помогал отцу шить гусарики. Когда же достали керосиновую лампу и время освободилось, мальчик стал учиться грамоте по старым книгам: отец указывал, а сын складывал и читал. Скоро мальчик научился, приохотился к чтению и читал отцу, развлекал его, когда тот шил днями и ночами гусарики.

Раз читал о том, как юношу Алексея родители насильно женили, и он прямо из церкви куда-то скрылся и пропал.

Родители очень любили Алексея, и много слез пролилось, когда он пропал. Однажды пришел к ним нищий и попросил разрешения жить у них в собачьей конуре. Ему это позволили, и он жил в собачьей конуре, питаясь только тем, что выбрасывали в мусорную яму.

Неутешны были люди в своем горе о пропавшем сыне, а сам их родной сын Алексей жил у них под боком в собачьей конуре.

– Алексеем звали? – перехватил Рудольф. – Это я знаю, мне тоже это читали маленькому.

– Рудольф! – ответил Волков. – Это было больше полста лет тому назад, как мы читали с отцом про Алексея, Божьего человека. Но ты слушай терпеливо или не слушай, но не мешай. Имей только веру, я все выведу к нашему времени.

Старик погладил Зуйка по голове и на мгновение окинул взглядом своих слушателей: люди собрались, тесно сошлись, внимательно слушают. И все-то они были когда-то вот такие же мальчики, как этот Зук.

Сам же Зук, общим добрым вниманием к нему как бы поднятый куда-то высоко наверх в легкий воздух, по рассказу доброго человека плел и плел свою собственную сказку о Кашее Бессмертном и о его вечном рубле.

По примеру святого Алексея мальчик сапожника тоже вздумал уйти из дома, оторваться от близких и начать потом неузнанным среди них новую жизнь. Он ушел из Талдома пешком в Москву и уже начал стовариваться с одним монахом на монастырском подворье, как друг явился отец и увел его обратно в свою сапожную и заставил по-прежнему делать гусарики.

Отец был неглупый человек и сумел уверить мальчика в том, что жизнь Алексея Божьего человека теперь несовременна и невозможна.

– Мотай, Рудольф, мотай себе на ус, – сказал Волков. – Жизнь эта оказалась несовременной. Ты правильно сказал: это был елей от Священного писания.

Зук же так понял, что в жизнь мальчика сапожника вмешался Кашей, и когда оказалось невозможным спастись по книгам Священного писания, мальчик попал в царство Кашея и решил во что бы то ни стало сделаться человеком богатым.

Бывало, мальчики, его сверстники, так свободно и весело играют в ладышки, а он стоит, угрюмый, в стороне, наблюдает и догадывается, как бы из этой игры сделать пользу себе. Вот именно, что только себе!

Можно бы, конечно, стоять и догадываться о хорошем, как догадался прораб на лесозаготовках и спас сто человек. Но Кашей дохнул на мальчика, и тот догадывался только в пользу себя. Так вот он с первого разу догадался делать дорогие *битки*, наливая внутрь ладышек тяжелый свинец.

Битки пошли в ход, и за одно только лето Волков нажил на своих битках двадцать рублей, и по указу Кашея Бессмертного серебряные деньги спрятал под камнем. Еще он догадался находить пивные бутылки с выпуклыми буквами и продавать их слепым. По выпуклым буквам слепые учились грамоте. А еще он догадался скупать в деревнях старые кокошники и вытапливать из них серебро. Тогда-то и оказалось, что вовсе не надо было деньги прятать под камнем, а можно было прямо пускать в оборот, скупая кокошники. А еще догадался скупать в деревнях воск и отливать из него церковные свечи и богомольцам выгодно их продавать.

Много-много всего нашлось в царстве Кашея, о чем можно было догадываться в пользу себя и все богатеть и богатеть.

– Мотай, мотай, Рудольф, себе на ус, – сказал Волков. – Я богател не по случаю, в большом труде и понимании: раз нет пути людям на небо, надо жить на земле, и тут бедному человеку на земле нет защиты, и хорошо жить можно только богатому, и если нет вечности в том, куда хочет душа, то надо найти вечность в рубле.

– Вот это правильно! – воскликнул Рудольф. – Вот, пацан, слушай и мотай и мотай на веретено в своей голове: вечность в рубле.

– Хороший, правильный рассказ, – одобрил и тот худой с козлиной бородкой Кашей. – Без этой основы не может быть вечности, и Богу от богатого церква, и бедному тоже копеечка: возле богатого и бедному хорошо.

Зуек перевел глаза на Кашея и догадался не по себе, а по нем, что, наверно, так и правильно и что все так живут в царстве Кашея, все умные друг от друга учатся догадываться в пользу себя и богатеют.

– И понял я, – говорил дальше добрый человек, – понял, Рудольф, что рубль на земле – это как вечность на небе, и если жить на земле, вечность понимать надо только в рубле.

– Правильно, Волков! – одобрил Рудольф. – Правильно, умный ты человек, учишь, учишь, пацан.

– Понял я, – продолжал Волков, – что работать можно не силой рук, как рабочие, не утруждением мозга, как работают на службах, а даже прямо на слуху. Иду раз по базару и слышу, люди между собою говорят о подошве: что дешевая подошва сейчас в Варшаве. Услышав эти слова, я забрал все свои деньги, поехал в Варшаву, привез два вагона подошвы и на одной только подошве со слуху нажил сто тысяч рублей и выстроил на них в Талдоме два больших каменных дома. И все только со слуху!

– А с пальцев не пробовал? – с уважением и с насмешкой спросил Рудольф.

– С пальцев нет, – ответил Волков. – Я шел законным путем и первое время работал только по слуху: схватываю и смело иду своему счастью навстречу.

– Хорошо, слов нет, как хорошо, – говорил Рудольф, – а все-таки с пальчиками дело скорей бы пошло.

– Какие тебе пальчики, друг, – чуть было даже не рассердился Волков. – Я шел настоящим законным путем. Ты думаешь, я, как урка, все тащил себе и тут же все проедал и раздавал? И так жил для себя? Не было жизни у меня для себя никакой. Ты говоришь пальцами работать. Пальцы эти самые, как я ими все ночи в холодной лавке деньги считал, я себе отморозил, на руках и на ногах, и жена рядом считала и тоже себе отморозила. Я, брат, не на себя, я на вечность работал. И так руку себе засушил, глаз потерял и нажил миллион. И только уж когда нажил три миллиона, вспомнил сам про себя, и поехал со всей своей семьей, как ездили у нас все богатые люди, за границу, в Париж.

– В Париж! – воскликнул Рудольф. – Ну, теперь все знаю вперед: поедешь в Париж и там угоришь!

– Там-то вот наконец-то я и увидел на деле, как правильно я взял свой курс – вечность человеческая в рубле. Не было у меня французского языка, и за рубли мои ходил сзади меня переводчик. Не было глаза, вставили искусственный глаз. Рука была сухая, руку мне оживили.

На радостях приказал я переводчикам: «Веди меня в самую главную церковь, желаю поблагодарить за все их Бога». Переводчик послушался меня и привел меня в великий собор Нотр-Дам-де-Пари. Тут увидел я великолепиие несказанное. Упал на каменные плиты со слезами и радостью, понимая в сердце своем, что Бог одинаковый и у французов, и у нас, и по всей земле люди молятся и просят своего Бога о вечном рубле.

После этого воспоминания Волков прослезился, а Рудольф стал хохотать, не меняя холодного и злого выражения своих глаз.

– Чего ты, окаянный, хохочешь? – спросил Волков.

– А как же мне не смеяться, – ответил Рудольф, – песенка твоя давно уже спета, все ее знают, а ты, русский мужичок-простачок, попал в Париж, услышал, удивился, прослезился... И нас хочешь теперь умилишь. Об этом есть песенка.

– Какая такая песенка?

– Ну, раз ты был в Париже, должен бы знать ее.

И Рудольф, сделав мефистофельский жест, запахивая невидимый плащ, ударил рукой по струнам невидимой гитары и, отставив стройную ногу, пропел довольно хорошим баритоном и очень верно:

На земле весь род людской  
Чтит один кумир священный,  
Он царит во всей вселенной,  
Тот кумир – телец златой.

– Телец – это Кашей Бессмертный? – ввернул свое слово Зук.

– Самый Кашей, – ответил охотно Волков. – Но только в сказках он был бессмертным, да нет, даже и в сказках на него смерть пришла. Шестьдесят лет изо дня в день я крепко веру держал, понимал вечность в рубле. И когда время пришло против веры моей, я на крыше своего каменного дома утвердил пулемет.

– Неплохо, – сказал кто-то с верхних нар.

– Нет, друг, оказалось плохо. Пулемет мой с крыши стащили. Сам я в лес убежал, жил долго по лесам и оврагам, скитался, как дикий зверь, пока не понял после всех испытаний...

Волков склонил голову.

– Что ты понял? – спросил Рудольф.

– Понял я, что в рубле вечности нет.

– В рубле вечности нет! – повторил с хохотом Рудольф. – И ты вернулся в собачью конуру?

– Нет, – ответил с твердостью Волков, – и в конуре, понимаю, тоже вечности нет. Никакой вечности на земле человеку нет и не может быть: ни в рубле, ни в собачьей конуре.

– Ну, это ты опять свои пустяки заливаешь сначала, а я говорю: вечность есть, и сейчас тебе открою, в чем вечность, – сказал Рудольф.

– В чем же твоя вечность? – рассеянно и недоверчиво, как маленького, спросил Волков.

– В пальцах, – ответил Рудольф. – Ты вот работал только на глаз и на слух, я же работал пальцами. Ты шестьдесят лет работал день и ночь. И нажил только три миллиона, а я себе своим пером в одну ночь сколько хочешь миллионов наделаю. Мое перо в славе!

– Какое перо, Рудольф? – восхищенно спросил Зук срывающимся от волнения голосом.

– Золотое, – ответил охотно Рудольф. – Мое золотое перо, и мои золотые пальцы, и мои золотые руки никого на свете не подводили. И еще есть у меня сто отмычек, и любая шкатулочка со всяким добром, с золотом, с драгоценными камнями, мне открывается.

После слов о волшебной шкатулочке Зук перестал складывать свою сказку о Кашее Бессмертном. Вся жизнь ему обернулась в волшебную шкатулочку, но через минуту сомнение,

как рябь на чистую спокойную воду, набежало на его глаза, и он Рудольфа, как близкого друга, дрожащим душевным голосом спросил:

– А как же, Рудольф, ты шкатулочку откроешь, унесешь драгоценности, а хозяин придет и увидит: его любимая шкатулочка пустая.

Один только мальчик, и, может быть, единственный мальчик на свете, мог таким задушевым голосом спросить отъявленных воров о судьбе хозяина разграбленной шкатулочки. Сам Рудольф смутился, и много глаз из разных углов поглядели на него вопросительно.

– Хозяин шкатулочки, – ответил Рудольф дружелюбно, как равному, – так он же, твой хозяин, единственно для себя одного и владеет шкатулочкой. Я же не для себя работаю. Ко мне каждый идет и берет, сколько хочет. Мне каждый друг.

И он кивнул головой на урок, и все мычанием, легкими жестами, морганием и молчанием подтвердили правильность слов своего пахана: ничего он не берет себе, и перо его золотое, и отмычки работают для всех.

Зуек растерялся. Глаза его потускнели, как от страдания, так все на лице его было ясно и всем понятно: все это так и не так. Но сказать никто больше ничего не захотел, и наступило то молчание, когда каждый вспомнил в себе такого же мальчика и каждому захотелось вернуться туда, в свое детство, и понять, почему он пошел по какой-то кривой дороге и путь свой истинный, прямой теперь навсегда потерял.

Тогда весь заросший волосами с одним только красненьким носиком на всем волосатом лице, с глубоко запавшими голубыми глазами-щелочками бродяга Куприяныч склонился к мальчику и шепнул ему на ухо:

– Милок! Не слушай ты никого. Иди сейчас потихоньку со мной.

Очень приятными и близкими для Зуйка были слова Куприяныча после трудных рассказов о вечном рубле. И он быстро встал и доверчиво пошел за бродягой к далеким нарам на вторых мостках.

Устроившись на ночлег рядом со своим маленьким другом, Куприяныч сказал:

– Я тебе, милочка, говорил, у меня есть птичка, и я ее слушаю. Люди говорят все по-разному, всех не переслушаешь и ничего не найдешь. А ты гляди только на меня, когда птичка позовет – я тебе скажу, и мы с тобой от них уйдем, никого не слушайся, гляди на меня.

– Птичка! – сказал Зук. – Это самая та, Пикалка? Тебе на работе помогает?

– Нет, – ответил Куприяныч, – это птица желна, и ты ее знаешь.

– Желна, – вспомнил Зук, – черная птица с красной головой?

– Вот, вот, та самая птица с огненной головой, летает после пожаров на горях от одного черного дерева к другому, долбит.

– И кричит, – вспомнил Зук, – на весь свет на лету часто, а когда на сучок сядет, то: «пить-пить-пить...»

– Не «пить-пить», – ответил Куприяныч, – а «плыть-плыть»! И то не всегда, а только ранней весной перед водой: это слышит и понимает каждый бродяга. Вот и мы, когда желна к весне закричит свое «плыть-плыть», мы тоже с тобой поплывем.

Так и уснул Зук под уговоры Куприяныча, и спать бы ему так до утра. Но когда разошлись тучи, на небо вышла зеленая луна, и свет ее вошел во все окна барака спящих каналармейцев. Мы не знаем, как лунный свет забирается в душу людей, но только многие в этих лучах нашли у себя в голове какие-то мысли и, обдумывая, открыли глаза. Лунный свет нащупал и в Зуйке место, пронзенное обидой и закрытое на время рассказом о вечном рубле, золотом перо и волшебной шкатулочке. Обида развернулась, как глубокая душевная рана с невозможностью возвращения к прежнему. Лунный свет охватил кругом маленькую человеческую головку Зуйка, и она открыла глаза с определенным, рожденным острой болью вопросом: «Как же быть?»

Только-только определился было вопрос, как перед открытыми глазами у окна показалась залитая лунным светом бритая голова человека с маленькой бородкой. Маленькие глазки светились, губы непрерывно шевелились, обе ладони время от времени поднимались вверх и охватывали все лицо, движением сверху вниз как бы умывали его, а из губ вылетали слова: «Алла, алла!»

Зуек сразу не понял, что это делается у окна, только ему стало неприятно и немного страшно. А дальше так в лунном свете что-то похожее делали два китайца, и у них в руках было по желтому фонарику. Зуек не хотел этого видеть и повернулся в другую сторону. Но и на другой стороне сверху тоже виднелись нары, и тут совсем уже близко у окна в лунном свете он узнал длинное худое лицо с жидкой бородкой. Кашей Бессмертный шепотом молился и время от времени поднимал руку и крестил себя мелким крестом. Тут только Зуек и понял, что и там, назади, разные люди по-разному тоже молились.

Зуек так теперь понимал Кашея, что он молится о вечном рубле, как молился когда-то и добрый человек Волков, и ему страшно стало. Правда, и бабушка по-своему молилась, и дедушка, но у тех не было это тайно, как здесь, в Кашеевом царстве. Тогда-то свое горе «как быть с обидой» и эти ужасные тайны лунного света сошлись, Зуек весь задрожал, схватил Куприяныча за бороду и начал трясти его.

– Что с тобой, дурачок? – спросил Куприяныч.

– Погляди, – зашептал он, – вон Кашей сидит.

– Молится богу своему, – сказал Куприяныч.

– О вечном рубле?

– Он заклады брал, ростовщиком называется, – о чем же больше ему молить, как не о рубле.

– А вот там другой сидит, – шептал Зуек, – тот умывается и шепчет все время: «Алла, алла!»

– Это татарин.

– И тоже о рубле?

– А о чем же?

– А вот еще с фонариком.

– Это китайцы.

– Как же нам быть, Куприяныч, они все тайно молятся и нас изведут.

– Э, полно, брат, не тужи, мы с тобой от них удерем. Вот как только дождемся весны, желна «плыть-плыть!» закричит, и мы с тобой поплывем.

– Куда же мы с тобой поплывем?

– Мы поплывем с тобой, куда нас желна поведет.

– Там не работают? – спросил Зуек.

– Не! – ответил бродяга.

– И не молятся о вечном рубле?

– Не!

– И не открывают чужие шкатулки?

– Не, там царствуют.

– И не приказывают?

– Не у чего там приказывать.

И стал рассказывать перед сном, как ему однажды очень захотелось напиться в этом чудесном краю. Поглядывал в лесах, лугах и оврагах, нет ли ручейка или лужицы. Совсем пересохло во рту от сильной жажды, но вдруг он увидел с подгорки, – сверху из темного зеленого ольшаника на камешек падает струйка чистой воды. Из камушка прямо на мох зеленый и бежит по черным, синим и красным ягодкам. Припал бродяга к ручью, пьет – не напьется. А какая-то птичка кричит часто и настойчиво, и все одно только слово:

- Птичка-яичко!
- Послушался птички, оглянулся, а рядом лежит голубое яйцо.
- Большое?
- Чуть поменьше куриного и голубое.
- Это птичка снесла?
- Нет, это раньше цапля снесла, я не видал, а птичка мне указала.
- Ну и что же дальше было?
- Я посмотрел и понял: это цапля снесла яйцо свежее и ненасиженное. Значит, цапля тоже попить захотела. Попила и снесла.
- Ну и что же дальше?
- Ничего. Я развел теплинку, налил в котелок из родничка воды, яичко сварил.
- И ну?
- И скушал... как хорошо! Я тебе еще раз говорю: там не работают, там все нам приготовлено, там мы цари.

## Часть II. Скалы

### XVI. Божья колея

Два раза по Карелии, наступая и отступая, проходил Скандинавский ледник и оставлял после себя длинные холмы песка, морен, напластований гравия, хрящеватого песка и песчано-пльвуна.

То же говорят ученые, будто подземные силы, поднимая Скандинавский полуостров, к ледниковому нагромождению прибавили еще и свое: поднятие было неравномерное, земля была перекошена, каменные пласты местами были поставлены на голову.

Дальше было так, что впадины наполнились водой и морская рыба начала искать себе путь в верховьях рек. Камень, подверженный действию воды и ветра, покрывался лесом и мхом, леса стали убежищем зверей. И первобытный человек жил тут, как и всякий зверь, не оставляя после себя заметных следов. Только после уже многих тысячелетий, когда над местом жительства первобытного человека образовался толстый слой плодородной земли, когда заработали в этой почве кроты, ученые заметили в кротовых кучах черепки разбитой глиняной посуды и кремневые наконечники орудий того человека. И мало-помалу под этим почвенным слоем были открыты места длительного его пребывания, и по направлению стойбищ можно было понять: и тот первобытный человек сквозь хаос нагроможденного камня, покрытого водой и лесом, пользуясь направлением узких, удлинённых озер и морен, старался пробить свою разумную прямую человеческую линию намеченного в наше время Беломорско-Балтийского пути.

Недалеко от нас и то время, когда русский человек, пробираясь вперед путем первобытного человека, принимал след ледника за след колесницы Ильи-пророка, и весь этот путь ледника из Белого моря в Балтийское стал известен в северном русском народе как *Божья колея*.

И правда, путь ледника был очень похож на след колесницы. Там, где колесо уходило в землю поглубже, потом в эту глубокую колею набегала вода и оставалось удлинённое озеро. Там, где колесо поднималось, на этом камне после него вырастал лес, и это сухое место между двумя озерами стало называться по-местному *тайболой*. А то и просто бывало, из одного озера в другое бежала река, и человек переплывал на лодке даже и тайболу. Вот по этой же самой Божьей колее озерами, реками и горами, покрытыми лесом, царь Петр перевел свои корабли из Белого моря в Балтийское. Просека в лесах, сплываясь от времени, была в наши дни еле очерчена: надо было издали на краю заревого неба увидеть темный зубчатый лес, и тогда ясно становилось, как темный лес на красной заре расступался на две черные стены и показывал след, как волю человека, имеющего власть над природой: человек захотел – и леса расступились, пропустили корабли, и этот след *Осударевой дороги* остался видим до нашего времени.

Так вот и теперь тот же человек, имеющий власть над природой, собрал множество людей со всех сторон необъятной страны, чтобы вновь соединить разделенные моря и, может быть, в этом великом деле показать еще более великое: показать, чего может достигнуть в природе человек, соединенный в труде как единый человек, неустанно идущий вперед и вперед.

### XVII. Красная черта

Скандинавский ледник своей чудовищной силой, сползая, растирал скалы, но были такие скалы первозданных пород, что и ледник, упираясь в них, свертывал с прямого пути.

Инженеры не останавливались и перед такими скалами и тонким стальным перышком на плане проводили свою прямую красную черту через скалы, недоступные даже силе сползавшего льда.

Эта красная черта для многих островов на Выгозере обозначала конец прежнему существованию и необходимость людям спастись и браться за что-то другое.

Об этом говорили, объявляли, указывали новые места, куда следовало людям переселиться.

По-разному относились местные люди в том и другом селе на том или на другом острове. Бывало, в каком-нибудь селе в давние времена какой-нибудь любознательный солдат, вернувшись со службы, приносил с собою волшебный фонарь, удивлял земляков световыми картинками, и с тех пор на этот остров или в это село стали попадать другие новинки, и один по другому стали нарождаться тут люди несколько просвещенные. В таких местах, конечно, люди поняли мысль ведущих на плане через скалы, воды, леса свою красную линию и разумно стали готовиться к переселению. Но на Карельском острове, где спасалась Марья Мироновна, люди верили: последний потоп был при Ное праведном, и Бог в ознаменование того, что потопа больше не будет, дал радугу.

Человеческая тревога еще не начиналась на Карельском острове, уснувшем после великих религиозных гонений и самосожжений. Вон там на краю острова какой-то рыбак сейчас рубит себе баню, выбирая деревья посмолистее, чтобы баня дольше стояла у воды и не прела. Если бы он только знал, что через какой-нибудь год эта баня будет на дне озера тихим пристанищем раков и рыб! Но бедный человек не понимал времени и строил свою баню как можно прочнее.

Неподалеку от строителей бани два рыбака дрались между собою за сиговые тони: один из них протянул свой невод по тоне другого, и тот теперь отбирал у него пойманных шук и сигов.

Перед неизбежным затоплением острова люди жили беспечно, и с ними рядом жили разные животные. Под лестницей большого дома Марьи Мироновны была незаметная норка водяной крысы, и отсюда у нее был ход в пруд, где жили долго золотые караси. А над крышей высокого дома давным-давно стояло старое поломанное дерево. В борьбе за жизнь дерево выбросило множество порослевых сучков, и в этой куще тоже давным-давно ворона сложила себе темное гнездо и отсюда постоянно стерегла водяную крысу. Бывало, иногда светлой ночью водяной крысе вздумается выйти в пруд к золотым карасям не подземным ходом, а поверху. И вот этого случая постоянно дожидалась ворона. Годы проходили, одна ворона сменялась другой, одна крыса свои навыки передавала другой, и только мельчали караси, и постепенно золотые уступали свое первенство карасям серебряным, более мелким.

Случалось какой-нибудь крысе загрызть молодую ворону, случалось, и ворона унесет к себе в гнездо крысенка, но эти случаи не нарушали нисколько общей жизни берегов Карельского острова: сиви сыспекон веков держались этих берегов, и особенно дикие утки окружали остров своим серым живым островом, и ветхозаветные люди их не трогали и не пугали, полагая, что для еды назначена человеку не водяная, а горняя дичь. Гагары, гуси, лебеди присоединялись к серому утиному острову.

О будущем на всем острове думала одна только Марья Мироновна и неустанно молилась у себя в моленной, а ночью ложилась в гроб, ожидая страшного часа, когда затрубит Архангел и загорится земля. Ей ли, мирской няне и разумнице, не понять наше время, не вникнуть в него, не разбудить людей своих, дремлющих вместе со своими птицами и животными! Сколько раз молодая зеленая веточка старой ивы стучала в окно и шептала:

«Проснись, очнись, добрая бабушка, улыбнись, помоги этим бедным людям, развяжи их веревочки, чтобы не ходили они кругом себя, как телята на привязи».

И, конечно, еще и как слышала бабушка голос зеленой веточки, но, усиливаясь в вере предков, вспоминая прежних лет погорельщину, еще крепче держала в себе сжатое сердце.

Нет, наверно, не было уже Бога живого в этих темных и страшных ликах икон, озаряемых неугашаемым светом лампы.

Живой творческий дух выбрал себе скромную комнату барака из сосновых бревен с ароматной смолой. В этой комнате инженеры в постоянной борьбе между собою за лучший план старались так закрыть Надвоицкий падун, чтобы можно было самому человеку его и открыть и чтобы не падун управлял жизнью озера, а сам человек: захочет – и падун замолчит, захочет – и падун опять зашумит.

Конечно, ничего не знает об этом страшном умысле сам падун. И только подрастающий мальчик ежедневно приходит к нему в свою печурку, сливает с падуном свою жизнь и смотрит туда, как в себя, и там, как в зеркале, что-то видит, о чем-то догадывается. Он в большой обиде теперь, этот трепещущий неученый мальчик, но, преодолевая боль свою, все-таки видит и теперь там, в падуне, других людей, всего соединенного человека, идущего все вперед и вперед к лучшему.

Чудится ему: человек со своими мыслями, желаниями там соединяется в большого человека, но почему же его одного, Зуйка, тот большой человек не берет с собой и забывает в печурке на черной скале?

Вон как взлетают высоко вверх струйки и, падая, опять соединяются вместе. Целые столбы белой пены высятся, и опять обнимаются, и опять соединяются.

И мелкие брызги летят, и радуга в них появляется, и гул, и хаос, а все-таки сквозь этот гул и хаос, если прислушаться сердцем...

Вот что-то сбилось, какая-то тяжелая глыба повернулась, загремела там в глубине. Что это?

Ничего! Вот опять что-то соединилось, и опять слышится мерный ход, и это, наверно, сам большой человек, преодолев какое-то огромное препятствие, справился и опять мерно шагает все вперед и вперед.

– Но зачем же, за что же меня бросили вот тут одного на скале? – спрашивает Зук. – Возьмите, возьмите меня, я вам пригожусь. Эх, если бы вы знали, если бы вы только могли понять, как бы я вам пригодился.

Никто не слушает мальчика, предоставляя ему самому найти свой собственный путь. Невозможно же инженерам, определяющим место затопления, принимать во внимание интересы какого-то мальчика. Инженеры тоже думают о всем большом человеке, и что им задумчивый мальчик, переживающий обиду свою с падуном: это его личное дело решать вопрос, как выйти ему из обиды и, свободно, вступить в ту роковую борьбу за свое лучшее место в человеческом деле. В том-то, может быть, и есть смысл борьбы, чтобы слабенький сделался сильным.

Когда с трудным узлом на плане было покончено, инженеры довели до конца на бумаге все узлы до самого Белого моря и приступили к макетам канала.

Мысль начала облекаться в твердую материю, и вот он, первый кораблик, выходит из озера Онега возле Повенца. Дальше он должен подняться в гору на водораздел, переплыть по воде на ту сторону хребта, спуститься потом вниз до Белого моря.

Корабль вводят в коробочку, плотно закрывают за ним дверь, пускают в коробочку воду, кораблик поднимается выше и входит в другую коробочку, опять пускают воду и в эту коробочку, и кораблик, поднимаясь выше на шлюзовую ступеньку, вступает в канал. И так семью шлюзовыми ступеньками повенчанской лестницы макетный кораблик поднимается на водораздел и, преодолев горы, такими же ступенями-шлюзами спускается к Выгозеру. Падун в будущем не будет больше шуметь, и даже трудно будет узнать то место, где он когда-то шумел. В

обход падуна сделана шлюзовая ступень, и кораблик спокойно спускается в озеро Воицкое, куда когда-то сверху Выг летел вниз падуном.

Когда вся мысль эта была заключена тонким стальным пером на белой бумаге и проект утвержден, имеющий власть над природой произнес свой новый приказ:

– Бросить всех людей на скалу!

## XVIII. Все на скалу!

Двинулись массы людей на скалу, но лес нужен был на все время стройки канала, и специально лесные работники при общем приказе, конечно, остались на местах. Куприяныч по-прежнему спокойно, не делая никаких лишних усилий, работал и только изредка поглядывал на фаланги проходящих с песнями и знаменами каналоармейцев; они шли на войну со скалой – Куприяныч оставался в тылу.

Из всех прежних друзей своих и покровителей у Зуйка оставался только один Куприяныч. Конечно, Зук делал вид, что ему все равно, а сам потихоньку всползал на дерево и оттуда из-за веток глядел и глядел на идущих под музыку со знаменами. Люди шли на скалу, как на войну, только в этой войне не было плачущих женщин.

Будь бы все по-прежнему, оставайся Зук на месте курьера, каким бы героем шел он теперь впереди всех фаланг и как бы за ним гремела музыка и колыхались знамена! А теперь кто он? Не простой деревенский мальчишка, не школьник, не пионер и даже не урка из барака, называемого *конюшной*. После той встречи в бараке с урками они почему-то стали ему еще дальше, чем прежде. Теперь, когда они знают, – его легавые выгнали, от него потребуют стать таким же, как они сами. Но он не хочет ни за что обижать человека и грабить шкатулочку для своих же воров. Нет, он не с ними, и это они ему не простят.

«Змеюга!» – сказал ему Сутулов. И с тех пор он чувствовал, будто в самом деле в нем поселилась змея, ползла и шипела. Больно ему было и страшно встречаться с людьми, с теми, кто просто и вольно идет на работу. Ему захотелось, как настоящей змее, скрыться где-нибудь от всякого глаза, но невыносимо тяжело ему было оставаться в потемках, и так он все полз и полз змеей тихонько по дереву вверх и сквозь густые ветви глядел туда, где трубы гремели и где все шли на войну.

Это большое дерево, срезанное, упало на другие поваленные деревья и вершиной своей, где спрятался Зук, поднималось довольно высоко. Куприяныч мало-помалу дошел до этого дерева и, принимаясь за него, сказал:

– Спускайся, пацан!

Пока Зук на четвереньках, головой вниз, спускался, ему пришла в голову одна странная мысль, и, приблизившись к Куприянычу, он поднял голову и спросил его:

– Скажи, Куприяныч, откуда взялась эта сила такая, – скажет: «Все на скалу!» – и все, гляди вон, как идут. А мы с тобой скажем – и нас никто не послушает.

– Нас, конечно, не послушают, – ответил Куприяныч и воткнул топор в дерево. – А на что тебе нужно это, чтобы все тебя слушались? Раз уже тебе дали по уху – хочешь по другому?

– Хочу, – ответил задорно Зук.

– Ничего тут хорошего нет, – продолжал Куприяныч. – Живи сам по себе, и будет с тебя: вышло и вышло, а не вышло, так дышло.

– Дышло, говоришь? Нет, ты скажи мне, откуда взялась эта сила?

– Смотри, пацан, – отклонился от вопроса Куприяныч, – лучше слезай скорей с дерева, а то упадешь – еще брюхо напорешь. Вот тебе и выйдет дышло.

Зук слез, но не отстал. В голове его непрерывным потоком носились разные вопросы.

– Вот ветер, – спрашивает он, – это сила?

– Конечно, сила: вертит мельницу, валит деревья.

– И огонь и вода – все это сила? А что это: один приказал – и все пошли на скалу?  
– Уй ли! – воскликнул Куприяныч.

И глаза его, как у ежа, скрылись под щетиной. Щеки раздулись, красный язык он забыл на губе. Зук уже знал, к чему это все у него.

– Знаю, знаю, – сказал он. – Ты сейчас опять начнешь говорить о лесах, а вот уже одну весну пропустили. Я вот погляжу немного и, может быть, сам уйду один без тебя.

– Куда же теперь в зиму идти: вот придет последняя наша весна – и я тебе верно говорю: мы уйдем.

– Я тебя не это спрашиваю.

Куприяныч сделал плутовскую рожу и с таинственным видом указал на телеграфные столбы.

Зук поглядел туда, прислушался: телеграфные столбы сильно гудели и наполняли все близкое пространство необыкновенными звуками.

– Вот сила, – сказал Куприяныч. – Спрашиваешь, какая она: вот она бежит по столбам, по проволоке.

Зук вдруг понял и удивился, как он раньше сам не мог о том догадаться. Конечно же, приказ имеющего власть бежит по проволоке, и она гудит – это сила бежит.

Он приложил ухо к столбу и, конечно, услышал бегущий приказ: «Все на скалу!» Так Зук догадался. А неподалеку от него из леса, привлекаемый гулом телеграфных столбов, вышел молодой любопытный медведь, осторожно подкрался на гул, стал на задние лапы, обнял гудящий столб.

Некоторое время медведь был доволен гулом столба, но были и еще какие-то лучшие звуки где-то. Может быть, это там, у другого столба? Медведь обнимает другой телеграфный столб, третий, четвертый, и все не то и не то. Только на пятом столбу медведь понял, – ему надо подняться выше телеграфных столбов. И он выбрал себе высокое дерево и осторожно стал подниматься вверх с сучка на сучок.

А Зуйку не надо было и подниматься. Слушая гул телеграфного столба с приказом: «Все на скалу!» – своими глазами он видел, как все идут сейчас бригадами, группами, фалангами, трудколлективами.

Бывшие городские воры несут на своих плечах длинные рычаги для подъема валунов.

Рецидивисты, лепарды, волчатники, шакалы и медвежатники несут заступы и доски для трапов.

И кажется покинутому мальчику, до чего же им, должно быть, хорошо всем вместе идти на общее дело, как они счастливы, какая это добрая сила соединяет всех их в одного человека.

С музыкой приходят бригады, со знаменами, с песнями. Как они счастливы!

И покинутый мальчик, глупенький, перебегает от одного телеграфного столба к другому, прикладывает к каждому ухо и слышит одни и те же слова одного и того же приказа, соединяющего столь разных людей воедино на борьбу со скалой.

На высокую, стройную осину молодой любопытный медведь не за медом взобрался, ему тоже понравилась музыка, человеческий марш, побуждающий идти в единстве всех все вперед и вперед.

## **XIX. Война**

Была особенная карельская тихость в природе и сырость в воздухе, такая густая, что пахло сырыми раками, и даже казалось, что времена человеческие тут еще не начинались и что это не сучья гиблого леса торчат, показываясь из-за скалы, а рачьи клешни растопырились.

Что это? Мир только что начинается, или, может быть, он в безлюдье своем так одичал?

Вон под горой вода, и от берега вверх поднимается дерево, и верхушка этого дерева цепляется за воду на горе, а с того верхнего озера тоже поднимается дерево и расплывается в тумане.

В эту природу пришел человек, имеющий власть, и приказал.

– Слушаю! – ответил другой человек.

И взял на себя великий труд расставить реки, озера, скалы в новый порядок, какого не бывало в природе. И каждого рабочего поставить на свое место, где ему было бы способнее работать и он мог бы больше принести пользы общему делу.

Тогда вся природа со всем поглощенным ею древним человеком стала против новой деятельности нового человека, и началась война у природы за свой вечный покой и у человека за свое лучшее будущее.

## XX. Конюшня

Вначале война с природой не казалась такой тяжелой и страшной, как война между людьми. Ледник в далекие времена так измельчил скалу, что людям можно было даже просто руками выбирать валуны. Но строители канала с самого начала понимали, с каким сопротивлением придется им встретиться, и с самого начала знали – это будет война. И людей организовали в боевые части, и рабочие стали называться каналоармейцами.

Вся эта первая скала была разборная. Вынимая камень за камнем, каналоармейцы углублялись в землю и выкладывали валуны на края котлована. В уродливой впадине было полно людей. Там они бродили, спотыкались, наклонялись и по двое, по трое старались приподнять какой-нибудь тяжелый камень. Тогда природа выступала против людей этих силой тяжести: она тянула камень вниз, стремясь вырвать его из рук людей, обломать им ноги и утвердить камень свой на прежнее место. Люди, напротив, стремились камень поднять, и не только доверху, а даже отнести его несколько в сторону.

Случалось, и двое, и трое, и пятеро, и еще больше, собравшись, не могли одолеть эту силу тяжести. Тогда непременно кто-нибудь бросал работу и говорил:

– Деточки, ша!

Каналоармейцы закуривали, глядели вопросительно на отказчика, а он уговаривал:

– Ша, деточки! Пусть за нас медведь работает.

И в ответ ему какой-нибудь имеющий вид интеллигента раскланивался и говорил:

– Имею честь кланяться!

Отказчики, дезертиры один за другим уходили с фронта борьбы человека с природой в свой тыл, прозванный у каналоармейцев *конюшней*.

Там, в этой конюшне, отказчики собирались особой группой между двумя слоями людей косных, местных землевладельцев и рыбаков, подчиненных природе, и людей, подчиненных приказу человека, имеющего власть над этой природой.

В конюшне людям нечего было взять и у природы, и начальство давало им жалкие пайки в расчете, что они одумаются, возьмутся за дело и оправдают эти пайки. Им оставалось только грабить друг друга, отдавая свое время и волю картам. Конюшня была местом, где «ночью пляшут и поют, а утром плачут и встают». Конюшня была местом дальнейшего разграбления человека, где один обломок его на глазах другого, обыгранного, съедал его голодный паек, а голодный, щелкая зубами, надеялся только на то, что он отыграется и отнимет у счастливого его будущий день.

Но и тут, в этой конюшне, был один крепкий и живой старичок, в карты он не играл, паек получал по первой категории и мог бы жить и в самом хорошем и чистом бараке, а жил тут и отсюда уходить не хотел. И постоянной поговоркой повторял о своих товарищах по конюшне:

– Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!

Хулиганчикам эти слова вроде как бы нравились, старика никто из них не обижал, хотя он первым везде работал на трассе. И тоже он постоянно был в переговорах и делах с начальством, а никто хорошего человека никогда не попрекнул в конюшне за легавых... Все знали, – он с ними водился не для себя.

И все тоже знали, что был он когда-то очень богатым человеком, и, бывало, не раз кто-нибудь от нечего делать в конюшне возьмется поскалозубить и поддразнить старика.

– Дедушка, где твои миллионы?

– Со мной, – отвечает бывший миллионер.

– Где же они с тобой?

– На замочке. – И примется смеяться добродушно, повторяя свое постоянное: – Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!

И весело рассказывает не то притчу, не то сказку о том, что вот если бы только ум теперешний да назад обернуть его, когда был богат и славен...

– Вот бы жил! – со смехом говорит он. – Я бы эту славу свою теперь бы на замок, а сам бы жил и жил, как теперь с вами.

– Так зачем же было тогда ее достигать? – спрашивает человек из конюшни.

– Достигать, дружок, нужно, чтобы она не манила, не дразнила, не разлучала нас между собою. Поймать – а потом ее на замочек, сиди, мол, чтоб новым, молодым, неповадно было! А ты спрашиваешь, где мои миллиончики? Все, сынок, у меня на замочке. Эх вы, милые мои хулиганчики!

Улыбнуться лицом, иссеченным морщинами, Волков уже и не мог. Никто бы и не понял этой улыбки. Но глаза его светлели, и по ним бездельники понимали: устал старик на работе. Лечь ему, отдохнуть хочется. И отставали.

Начиналась обыкновенная страшная ночь, но мысль все равно и этой ночью питалась, как и самым чудесным днем. Это бывает, когда у человека, усталого от большого дневного труда, голова лежит на подушке. При дьявольских криках и ударах человек о чем-то подумает и опять заснет, и опять пробудится, и опять подумает, а утром опомнится, и ему чудится, будто всю ночь в его голову стучалась какая-то мысль. Потом на работе весь день нет-нет да и явится чувство этой мысли – пробует человек что-то вспомнить и никак не может, а знает: мысль эта живет в себе. А вот уже на ночь, когда снял сапоги, развесил подсушить сырые портянки и подошел досужий человек и хотел поддразнить его миллионами, вдруг все вспомнилось: мысль эта была о том, что ни в рубле, ни в славе вечности нет, что пусть и нужно было этого достигать, пусть без этого не обойдешься, но что, достигнув, все надо запереть и жить, как будто ничего этого не было.

Вот она теперь, эта мысль, у Волкова как бы вышла на волю из сердца, и поднялась в голову, и оттуда сошла на язык, и пошла, и пошла, как человек, все вперед и вперед.

Человек ставит ногу вперед с этой мыслью о лучшем, и этот шаг вперед тащит другую ногу из прошлого. И так мысль поднимает прошлое, и оно тоже выходит вперед и этим спасается, и впереди всего идет мысль о лучшем: и все вперед и вперед.

В этой мысли о лучшем – вся вечность, а в рубле вечности нет.

Так беспокойная мысль точила человека, пока не нашла себе выход. Теперь человек, оставленный ею, спит, не обращая больше внимания на драку и ругательства возле него.

Конюшне, конечно, одно утешение думать, что она является жертвой торжествующей неправды легавых и что не канал – цель легавых, а ненависть к свободному, как они, человеку. И оттого они в свое оправдание думали и постоянно о том говорили: никакого канала не будет, и при первой хорошей весенней воде все затеи легавых унесутся вместе с туманом в Белое море.

А между тем котлован и углублялся, и в длину рос, и стал получать вид канала. Разборная скала как будто нарочно так была подготовлена, чтобы люди ее разбирали прямо руками. Чуть какая-нибудь заминка случится с огромным валуном – тут всегда появляется сухорукий старик с иссеченным морщинами лицом, обдуманно наметится, направит людей:

– Взяли, товарищи!

– Взяли! – ответят ему хором.

И потные люди, скинув даже рубашки, выставляют валун на тачку и прямо на край котлована. После того, бывало, потные люди, не надевая еще и рубашек, садятся рядом покурить, как садятся дружно воробьи тесно рядом на жердочке, и тогда нехорошо делается одинокому из конюшни, если он случайно увидит их вместе. Он увидит людей достаточно сильных, чтобы не чувствовать утраты этой силы при работе, людей достаточно богатых душой, чтобы не искать каждому отдельно для себя особой награды, и сейчас при перекурке просто счастливых своим единством и победой над камнем.

Но и сухорукий старик, имеющий возможность работать только усилием мысли, в том же самом ряду сидит с тем же счастливым чувством победы, и как будто он даже счастливее всех. Им-то всем душевный покой давался как бы даром самой природой, но Волков на старости лет впервые только узнал это счастье и непрерывно все расцветал и расцветал изнутри.

Так было однажды, он куда-то исчез и вернулся с большой плетеной сеткой в руке, и за ним несли веревки. Этой сеткой был охвачен валун, наверху на краю котлована был установлен ворот, и камень в сетке воротом легко был поднят наверх. Но в этих выдумках Волков был не один. Он внизу тут вместе с рабочими догадывался и своей догадкой втягивался в общее дело. А наверху начальник узла Сутулов неустанно следил за работой, непрерывно решая задачи борьбы и победы. Как только ворот был установлен на краю котлована, он уже мысленно заменял людей лошадьми, а на другой день десятки сеток охватывали валуны и десятки воротов вертели лошади. И тут же десятки инженеров работали над моделью местного деревянного деррика.

Проходит немного времени, одна догадка, складываясь с другой, наворачивает на себя новые, как горсть снега в оттепель, катясь со скалы, образует огромную снежную лавину – огромной силы техническую мысль, и на берегу котлована вместо лошадей становится механическое чудовище, исполняющее волю человека, имеющего власть над природой. Теперь как царь природы стоит этот скромный, с виду самый обыкновенный человек, Сутулов, и по его приказу механические чудовища медленно поворачиваются основанием тулова, покряхтывают, звенят цепями, выворачивают своими железными пальцами из вековых гнезд валуны и осторожно складывают их на вагонетки.

Мало-помалу канал обрастает мостиками, с упором в подъездные пути, по мостикам и трапам неустанно снуют каналоармейцы с тачками, внизу люди бьют молотками, сверлят и бурят. По дну котлована с обыкновенным свистом своим катит паровозик и тащит за собою платформу с камнями. Электрические моторы выхлебывают воду из деревянных сот. И только изредка услышишь стук конских копыт по дну канала, а еще реже вырвется голос отдельного человека. Так делались стенки канала все выше, от мороза покрывались сосульками, в оттепель сосульки блестели и капали, и так оно было везде, во всех узлах строительства от Повенца и до Белого моря.

## **XXI. Это не важно**

Когда Волков на мгновение проснулся от какого-то дикого крика в конюшне, ему вспомнилась большая древняя сеча, когда русские, усеяв поле своими телами, мало-помалу начали уступать, и еще бы немного – татары бы взяли верх и погнались. Но князь Дмитрий был хранителем русской мысли в этой войне и, когда пришла последняя решающая минута, выпустил на

татар укрытую в запасе конницу, и эта ничтожная в сравнении со всей русской силой конница решила дело народной победы, и вся татарская рать побежала. Вспомнив эту битву, Волков подумал о своей конюшне, и ему представилось, как, бывает, так чудно представляется, когда все тело лежит неподвижно, а голова и тут не остается без постоянной своей работы: представилось, будто конюшня в борьбе с природой и есть та запасная конница древней битвы.

Мало того: ему представилось – люди в конюшне не просто пешие люди, а все они конные и что у каждого есть свой особенный конек и оттого-то они не хотят спешиться и работать простыми людьми на канале. На секунду опомнившись, Волков зевнул, по старой привычке перекрестил себе рот и, засыпая, прошептал: «Хулиганчики, хулиганчики, сколько в вас душевности!»

Сон Волкова о коннице вышел в руку: русская великая рать сейчас на канале боролась, только не с татарами, а с природой, и, пока скала была разборная, – вся борьба была на стороне человека. Чудовищные деррики мерно опускали свои клювы и поднимали их, переполненные добычей. Гигантские зеленые тыквы диабазы доставлялись наверх в открытых ящиках. По параллельным тропам скатывались вниз пустые тачки. Но как-то случилось вдруг неожиданно, разборная скала кончилась, и на прямой путь человеческого канала природа выставила сплошную скалу первозданной породы.

Разборная скала была скалой, растертой ледником. Но эту сплошную скалу ледник не мог в свое время растереть и сам от нее отвернул в сторону. Красная же прямая линия человеческого плана шла прямо на сплошную скалу. И чего не мог сделать Скандинавский ледник, то должно быть сделано человеком.

Вот тогда-то Волкову и вспомнился его сон: великая русская рать дрогнула, и даже привычные к трудной земляной работе смоленские грабари начали склоняться к тому, что канал – это придумка, это предлог, чтобы замучить и покончить с человеком свободным...

– Канал – это фикция, – сказал маленький худой человечек с большим лбом, розовым лицом и синими жилками.

– Ты прав, Бацилла, – ответил Слива, человек огромного роста, с большим красным носом, похожим на сливу. И оба направились в конюшню, а затем, конечно, усомнились и другие, до сих пор трудолюбивые воры. И смоленские грабари, перекуривая, все чаще и чаще поглядывали в их сторону.

Теперь в борьбе со скалой нужна была от людей великая подрывная работа, нужны были смелые, отчаянные люди, умеющие играть со смертью так же наивно и просто, как играет иногда дворовый кутенок с хвостом лошади, подкованной железом: один удар железной ноги – и кутенок как тряпка полетит с разбитой головкой. Но кутенок несмышленный, а человек все понимает и все-таки не боится железной ноги смертоносной кобылы.

Вот тут Сутулову вспомнилась конюшня, и одновременно Волков подумал тоже, что у этих людей, у каждого, есть свой конек и что если каждого посадить на своего конька, то, может быть, как раз и выйдет из этого та самая конница, решившая победу в древней великой битве русских людей.

– Ты как думаешь об этом? – спросил Сутулов с глазу на глаз старика.

Он спросил его, как начальник, на «ты».

И бывший миллионер понял это как надо и ответил на «вы», что у каждого в конюшне есть свой конек и каждого надо посадить на своего конька и дать ему «силу воли».

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ну, они так понимают и так называют то самое, чего каждому хочется, и вы так понимаете: сила воли.

– Понимаю, посадить посадим и волю дадим, а куда же они поскачут?

– Куда надо, туда и поскачут.

– И кто же их выведет из конюшни?

Волков опустил глаза. Сутулов пронизательно поглядел на него и спросил:

– Ты?

– Прикажете! – ответил Волков.

– Хорошо, – сказал Сутулов, – выведи.

И потряс ему руку.

– Слушаю, – сказал Волков.

И так в этот раз окончился на трассе рабочий день.

Приготовляясь на своем месте ко сну, Волков развешивал сырые портянки и так про себя думал: «Сделать канал – это значит поймать силу воды и заставить ее работать на человека. Вода это правильно делает, – размышлял Волков, – что сопротивляется: заключенная вода – это раб человека. Но вот если взять ветер, как он вертит мельницу и, упираясь в крыло, облетает его и остается свободным. Ветер... а мысль человека куда свободнее ветра, и нет такой работы, нет такого заключения, где, если бы захотел человек, свободная мысль не помогла ему и не полетела бы дальше, любя человека, все дальше и дальше».

Так понимал в заключении радость о свободной мысли человек, расставшийся со своими богатствами.

– Ты, дедушка, что такой нынче веселый сидишь? – спросил Волкова Вася Веселкин.

– Вспомнил, сыночек, свое прежнее и теперь радуюсь свободе своей. Как миллионы раньше мучили. Вот сейчас я кланяюсь им, спрашиваю: кого они теперь мучить летят? И о тебе тоже думаю, какой ты молодой и хороший, и все у тебя впереди.

– Я хороший? – сказал Вася удивленно.

И на минуточку как бы замер в своем удивлении, а потом вдруг принялся хохотать, как будто дедушка сильно его рассмешил. Умный Вася, конечно, понимал, что дедушка не просто это сказал, а что была у него какая-то тайная мысль. Но понять ее он не мог и стал закрываться смехом искренним о том, что он, бывший замочный вор, был хорошим.

– Чего ты? – остановил его дед.

– Как чего? Ты говоришь – я хороший! – и опять хохотать.

– Нет, Вася, ты не смейся, у меня есть одна мысль.

Вася сразу стал серьезен. Он же был умный белокурый русский паренек и хорошо понимал, что за смешным словом была у дедушки мысль.

– Мысль свою, – сказал Волков, – я тебе не скажу: тебе ее все равно не понять. Молод! А помысел тебе свой я открою. Хочу тебя из этой конюшни вывести.

– Пошто вывести? – спросил Вася.

– На хорошее дело.

Услыхав слово о хорошем, Вася опять принялся смеяться.

– Будет тебе, – сказал дед. – Я истинную правду говорю. Есть хорошее дело. Опасное. Жизнь поставишь на карту, а не краденый паек. Идем с тобой в подрывную бригаду. Я бригадиром и сигнальщиком, а ты запальщиком. Опасное дело.

– А сапоги дадут? – спросил Вася живо.

– Уговорился я с ними: сапоги дадут, штаны, телогрейку, повышенный паек и в новый барак, и чтобы выйти вон из конюшни.

– Что ты говоришь? – недоверчиво сказал Вася.

– Я тебе говорю. Ты мне не доверяешь?

Вася ничего не отвечал. Он выкладывал в голове свой расчет, как мостовую из кирпичей, но сапоги, одежда, паек не укладывались в расчет, и оставалось только решить так, что легавые придумали какую-то новую ловушку.

– Опасное дело, – подсказал Волков. – Никто не хочет жизнью своей рисковать.

И как только сказано было, что надо жизнью своей рисковать, Вася вдруг понял все и живо сказал:

– Я тебе доверяю.

– То-то, – спокойно ответил Волков. – Ступай потолкуй со своими ворами. Может быть, какие тоже доверят.

– Тебе доверят многие, – ответил Вася. – А баб тоже брать будем?

– Отчего же не брать. А есть такие?

– А как же! Есть Анютка Вырви Глаз, умная девка, на все пойдет, если выгодно. Ей надо будет чего-нибудь еще посулить. Есть спекулянтка, смешная, зовут ее Шаша-Маша, – пришептывает. Каждому угодить хочет за счет другого: кому угодит – тот не благодарит, так, мол, и надо, а за счет кого угодит – тот ее бьет: всегда битая ходит. Лечит от всех болезней, за всех молится и опять то же: кому поможет – не благодарит: так и надо, а кому не поможет ни Бог, ни лекарство – тот бьет. Битая баба: скажи ей доброе слово – и она тебе полезет в огонь. Тощая-тощая! – И, представив проворными руками и подвижным лицом, какая такая битая Маша, Вася залился открытым, ребяческим, неудержимым смехом, и морщины на лице Волкова дрогнули и зашевелились паучиными лапками, и по глазам стало понятно, что дедушка тоже смеется.

– Еще, пожалуй, Балабоха пойдет, – продолжал Вася, отсмеявшись. – Кацапик, наверно, пойдет. Поговорю с Иваном Дешевым... Наберу людей, только не подведи!

– Я-то не подведу, а вот ты рассчитывай, чтобы не подвести. Получат сапоги и проиграют, а без сапог на подрывные работы в камни нельзя.

– Не подведут. Только сразу всем сапоги, одежду в руки доверь, оглуши их доверием и выводи вон из конюшни.

– Это правда, Вася, ты это очень неглупо сказал, чтобы оглушить человека доверием: этим нашего брата, заключенного, скорее удержишь, чем решеткой с железными прутьями. Пожалуй, я тебе теперь и свою мысль открою...

– Мысль? – робея и немного бледнея, повторил Вася.

– Да ты не бойся, глупенький, тут ничего нет такого, я только думал сегодня, что сделать канал – это значит поймать силу воды и заставить ее работать на человека и что вода спешит бежать и не хочет в рабство попасть к человеку. Но все равно ее человек одолеет, и канал сделают.

– Сделают? – спросил Вася. – А некоторые говорят, будто это для нас выдумали, чтобы замучить и кончить с ворами.

– Ну вот, говорят! Как это можно кончить с ворами! Канал сделают, и хорошее это дело.

Услыхав «хорошее», Вася в этот раз не смеялся, он понял, что над хорошим делом смеяться не надо, но по привычке только собрались и разбились у него возле губ мельчайшие морщинки, как паутинки, и глаза, большие, серые, как будто сели на корточки, чтобы сделать прыжок на смех, если и это хорошее тоже провалится. Волков хорошо заметил перемену лица у Васи при словах «хорошее дело» и успокоил его:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.